Ехезкел
Котик
Мои
воспоминания
Скитаясь и странствуя

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

От остановки к остановке в беспорядочном путешествии автора по жизни, перед взором читателя предстают и тотчас исчезают, сменяя друг друга, десятки типичных героев, родственников и друзей, цадиков и хасидов, раввинов и ученых, крестьян и шляхтичей, польских дворянок и еврейских женщин, балагул и меламедов, купцов и арендаторов, богатых и бедных, общественных деятелей и благотворителей, образованных людей и студентов. Их сведение вместе создает многокрасочную мозаику: перед читателем открывается захватывающая картина скитальческой жизни, сценой для которой были деревни и удаленные вески в Белоруссии, местечки и города в Польше и России (Белосток, Гродно, Брест, Харьков) и многолюдные столицы (Варшава, Киев, Москва). Воспоминания Котика это не только выдающееся произведение мемуарной литературы на идише и важный культурно-исторический документ, они вносят весомый вклад в исследование еврейского местечка. Уже не ностальгия, приправленная чувством вины, и не критическая патерналистская позиция, но попытка понять во всей его сложности одно из основополагающих явлений в новой еврейской истории, явление, сыгравшее определяющую роль в судьбе и жизни миллионов восточноевропейских евреев.

-
- Предисловие
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17

- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53

ЕХЕЗКЕЛЬ КОТИК

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Второй том

Перевод М.А. Улановская

Файл fb2 создан по электронной версии книги размещенной на сайте jewniverse.ru

http://www.jewniverse.ru/RED/Ulanovskaya_Kotik/

Предисловие

Если в первой части моих воспоминаний я был вольная пташка, беззаботное дитя и крутился в маленьком, любимом Каменце среди весёлых хасидов и задумчивых миснагидов, вокруг вечно занятого деда и сердечной бабушки, среди разных раввинов, проповедников, добрых евреев, заклинателей и отшельников, и считал, что Каменец – это весь мир, а Бог сидит сверху, на небесах, и смотрит только на нас, на местечко – если так было в первой части, то здесь, во второй, я – настоящий галутный еврей – скитающийся, бродячий еврей с большим грузом, ищущий, как заработать, меламед, арендатор, собственник, продавец, винодел, Менахем-Мендль[1], кидающийся туда-сюда и неспособный ни к чему практическому.

Но, кидаясь из стороны в сторону, как рыба в воде, я при этом держал глаза открытыми. Может, из-за открытых глаз я и не пришёл ни к чему практическому. Но благодаря этому я что-то увидел. Что-то увидел и что-то услышал. И это я передаю в моём втором томе.

Возможно, я слишком занят собой. Возможно, что во всём, что я описываю, я слишком замешан, занимаю слишком много места. Но как может быть иначе? Ведь это мои воспоминания, моя жизнь, моя память.

И вообще – как можно событие, факт, эпизод, стоивший мне куска души, отделить от себя?

Е.К.

Глава 1

После смерти бабушки. – Дед сватается. – Внезапный приход с женой. – Впечатление, которое это производит на семью. – «Бабушка». – Удовольствие деда. – Его новые дочери. – Рассеянны и разбросаны. – Усадьбы. – Наше гостеприимство. – Йохевед. – Леа. – От деда отдаляются. – Не те Грозные дни, что были прежде.

После смерти бабушки дед постепенно пришёл в себя. Он и дальше остался единственным избавителем и спасителем, советчиком и водителем помещиков, потрясённых восстанием, бедами и преследованиями, посыпавшимися на их головы широкой, железной рукой Муравьёва. Иные из них доверились сейчас старому умному Арон-Лейзеру, и он таки им во многих отношениях помог. По его совету они сдали евреям в аренду свои именья, получив достаточно денег, чтобы и дальше продолжать свою помещичью жизнь. В деньгах они тогда нуждались особенно.

Но дед тоже стал выручать много денег и жить ещё шире прежнего. Бричка его с парой лошадей, прежде имевшая еврейский вид, сразу стала выглядеть по-помещичьи. Лошадей со сбруей подарил ему помещик, и в бричке он сидел развалясь во всю ширь.

Дед, который всегда спешил, естественно нуждался в том, чтобы вылить все слёзы по поводу бабушкиной смерти, но едва источник этих слёз немного иссяк, он уже стал помышлять о второй жене. Сваты это тут же пронюхали и стали ежедневно засыпать деда разными предложениями – предлагали молодых женщин, богачек, даже красивых, из хороших семей и т.п. Но родных это не устраивало. Сваты делали вид, что речь идёт о партии для сына Арон-Лейзера Исроэля, который был со мной одного возраста. Никому из детей не приходило в голову – так плохо его знали! - что он захочет жениться после такой горячо любимой жены, в таком преклонном возрасте, имея при себе всех детей и семьдесят внуков и правнуков.

Дед так загорелся мыслью о второй жене, что совсем забыл о поисках партии для своего сына, в чём он прежде был очень заинтересован, и как выяснилось позже, так и договорился со сватами - чтоб ему нашли какую-нибудь красивую женщину среднего возраста и из хорошей семьи – непременно все эти качества.

И месяца через три дед вдруг откуда-то возвращается домой весёлый и быстро наводит в доме порядок. Ожидается важный

гость. И, немного погодя, сообщает детям как бы между прочим:

«Я женился на очень родовитой дочери реб Ицеле, раввина из Карлина, благочестивой еврейке».

И тут же спокойно о ней рассказал. С мужем она разошлась, так как он стал апикойресом, несмотря на то, что был очень достойным, образованным евреем и имел с ней взрослых детей. Но благочестивая женщина ни за что не хотела жить с апикойресом.

В доме воцарился траур. У всех потемнело в глазах; разбежались по разным комнатам, чтобы выплакаться. Но ничего не поделаешь - дело сделано. Дед, "проглотил" горе детей и тут же отправился за новой женой.

После его отъезда поднялся большой шум. Стоны и крики были почти такие, как в день смерти бабушки. Глядели со слезами друг на друга без слов, словно переживая неизбежную опасность. Конечно никому не верилось, что дед, который любил бабушку и так переживал после её смерти, сразу же обо всём забудет и на старости лет, около шестидесяти, при полном доме детей и внуков, приведёт мачеху. Но слёзы – это только слёзы. Ничему помочь было нельзя. И через несколько дней явилась таки пышная, красивая разодетая еврейка лет сорока пяти, и дед велел прислуге ставить самовар.

Дети вели себя сдержанно, не показывая пышной, красивой еврейке своего горя и досады и приняли её ни жарко, ни холодно. Деду это очень не понравилось: ему сильно хотелось, чтобы его вторая жена была принята тепло. Но жаловаться он не мог, также и дом, обычно такой кипящий и шумный от детей и внуков, где шалят и смеются, поют и танцуют, - дом этот вдруг стал тихий, мрачный, словно вымер.

Ни громкой речи, ни смеха, ни крика, ни шума - всё остановилось, прибито, тихо. Из города тоже перестали приходить – ни к детям и даже ни к Арон-Лейзеру. Знали, что он занят новой женой, и должен, конечно, сидеть у себя в комнате с ней и получать удовольствие.

«Бабушка» Ноэми, как внуки её называли при людях, вела себя пока с детьми и внуками корректно, понимая, по-видимому, что обитатели домашнего мирка – люди по большей части воспитанные и надо постараться, чтобы по возможности не вызывать по отношению к себе неудовольствия. Держалась со всеми членами семьи очень вежливо, как «мама» и «бабушка».

Недели через две явилась к деду гостья – младшая дочь его жены, девушка четырнадцати лет. Ещё через две недели - опять гостья: девушка уже семнадцатилетняя. Дочери остались с матерью. Через два месяца сын жены женился на дочери

каменецкого хозяина. И так в короткое время, меньше чем за полгода, выросла у деда новая семья. Обеих дочерей уже воспитывал дед, выказывая им много отцовской любви. Зять с невесткой, сват и сватья со всей семёй стали в дедовском доме своими людьми, заняли первые места, так что совсем не осталось места для детей и внуков Бейле-Раше, наполнявших раньше дом весельем и смехом. Общее недовольство со стороны детей способствовало некоторой их солидарности друг с другом. Была ещё какая-то близость, какая-то любовь, но любовь не пылкая, и чем дальше, всё холоднее и холоднее. Дед, который любил повторять поговорку: «Земля не примет кости того, кто отсылает от себя дитя», - стал вдруг стараться каждого устроить. Возможно, он хотел побыстрей избавиться от их косых взглядов, которые портили ему удовольствие с новой женой. Для каждого из детей он взял в аренду отдельную усадьбу, а для себя арендовал у помещика Вилевинского Пруску, расположенную в четырёх верстах от Каменца, с винокуренным заводом.

За полгода ему удалось устроить каждого из детей в отдельную усадьбу. Все разъехались, и он мог наслаждаться обществом своей жены и её дочек. Кругом была тишь да гладь. Избавившись от детей, он сначала ещё жил в Каменце, поскольку поместье было близко. За час можно было съездить в Пруску и обратно. Но вскоре этот шумный человек стал всё больше и больше стремиться к полному покою, чтобы ничто не мешало его удовольствию. Так он был очарован своей новой женой.

Каждый из детей жил в своёй отдельной усадьбе. Семейные связи постепенно совсем ослабли. И если бы не Йохевед, жена дяди Йосла, принимавшая близко к сердцу благополучие семьи и старавшаяся связать разорванные, ослабленные, последние ниточки, то от семейной солидарности остались бы одни развалины. Эта Йохевед была известна своим гостеприимством и щедростью. Жила она в усадьбе Бабич, в восьми вёрстах от Каменца, и семья к ней часто приезжала на фурах. У неё регулярно бывало по десять, пятнадцать человек, эти – уезжали, другие приезжали, ели блинчики и как сыр в масле катались. Шум дедовского дома, хотя уже ослабленный и уменьшенный, постепенно переселился к ней. Люди у неё веселились, танцевали, смеялись и говорили о пышной «бабушке» и её дочках.

Второй гостеприимной хозяйкой была сестра отца Лея, тоже очень умная и хорошая женщина. О ней говорили в семье и в городе, что это "вылитая мама Бейле-Раше". Понятно, что это было преувеличение. Муж её Элиэзер Гольдберг был молодым, учёным евреем, а также и европейски образованным человеком и поэтом. Когда ему хотелось, он мог сочинить песню на иврите на

Хануку, на Пурим, и очень тогда оживлялся. Был он очень широким человеком, в семье говорили, что у него «дырявые руки» - деньги у него не задерживались. Жил он в поместье Старышево, возле Заставья – в той самой усадьбе, которую дед постыдился принять от помещика в подарок.

В Старышеве хозяйка тоже гостеприимно принимала семью, но уже похуже, чем Йохевед. Скота так много она не имела. И когда съезжалась семья, она не выставляла ни молока, ни масла. Мясо есть тогда, кроме как в субботу, ещё не было принято; и даже в субботу это трудно давалось. Кстати, общество очень ценило блинчики Йохевед. Она их научилась готовить у своей свекрови Бейле-Раше, которая ими славилась. Блинчики были чудесные, каких нынче больше не увидишь.

Мой дорогой отец, будучи старшим в семье, этим гостеприимством пользовался очень мало. Он имел свои взгляды. Он также был для молодых слишком набожным, слишком сдержанным, хотя они его очень любили, и когда он появлялся изредка у Йохевед в доме, для всех это был праздник, словно ребе прибыл в гости к своим хасидам. В его присутствии все прикидывались спокойными, сдержанными – ни криков, ни смеха, ни шалостей. Все его обступали, и он им что-то рассказывал или с умом шутил, по своему обыкновению, и все глаза сияли.

Йохевед также откармливала до тридцати гусей зараз и топила шмальц со шкварками; начиналась серия йохеведских шкварок. Гусей она засаливала в бочонках, и целый месяц ели гусятину и шкварки. К этому она ещё давала каждому порцию домой. Шкварки Йохи были широко известны. Она также выращивала индюков и каждого из семьи наделяла на Песах индюшатиной.

Хозяйкой она была замечательной, как в доме, так и во дворе. Всё она знала, везде поспевала, заботилась о коровах, телёнке, лошади и т.п. Целый день была занята. Вставала в шесть утра и весь день была в делах. И летом, и зимой была в запарке, но делала всё ловко, легко, как настоящая хозяйка. Во всё вмешивалась, обо всём заботилась, и часто зимой стояла в амбаре целый день при молотьбе пшеницы. Но для удобства гостей ничего не жалела. С раннего утра гости имели горячий чай из самовара с жирными сливками и печеньем.

Но была у неё слабость – всё-таки женщина! – что иногда производило на гостей тяжёлое впечатление: она любила перед всеми хвастаться, какая она замечательная хозяйка и не коротко хвастаться, а долго и подробно. Рассказывала о своей работе, о том, что варит, печёт, о том, как разбирается в делах, как умеет принять гостя, смягчить скандал, и т.п., и часто всем морочила

голову этим женским бахвальством. Во всей этой болтовне, однако, проскальзывал один пункт, нацеленный на её мужа, который выглядел как настоящий барин, а всё оттого, что она для него сделала. Он барин, а она всё время работает. Он является на всё готовое, а она должна себе морочить голову. Хозяйкой она всё-таки была замечательной, и её слабость ей прощали.

Во время Грозных дней, когда все деревенские жители приезжали в город на Новый Год и Йом-Кипур, наша семья снова съезжалась в Каменец. К деду, однако, не заезжали, хотя в Каменце у него стоял пустым большой дом. Каждый снимал на Новый Год и Йом-Кипур квартиру. Дед также являлся, со своей женой и двумя «дочками».

До полного от деда отчуждения дело, однако, не дошло. И когда возвращались с молитвы, то старшие дети шли его поздравить с праздником, но тут же уходили домой. Весь день больше к деду не заглядывали, и в первый Новый год после смерти бабушки квартира выглядела, как преданный мечу город. А если в квартире деда на Рош-ха-Шана и раздавался какой-то шум – то это был гость, пришедший навестить его падчериц.

Отец мой проводил Рош-ха-Шана у ребе в Слониме.

Дядю Мордхе-Лейба женитьба брата очень огорчала. Он тоже от него отдалился. Ему он ничего не говорил, но про себя считал это большим грехом и безобразным неприличием и постепенно от своего брата отстранился. Дед уже навещал Мордхе-Лейба не с той широтой и свободой, как прежде. Умница-дед великолепно понимал молчаливое возмущение брата и старался себя вести предупредительно: стал сам чаще навещать брата вместо того, чтобы, как прежде, тот приходил к нему.

Вечер на исходе Йом-Кипура - время, полное особого очарования в доме деда, проходил теперь очень тихо и грустно. Резник хотя и являлся заранее к Арон-Лейзеру, но хозяева больше не посылали к нему своих капойрес. Также и все дети крутили капойрес у себя, а деду их посылали уже готовыми, «кручеными», а не так, как в былые годы.

Лишь канун Йом-Кипура старшие дети проводили у деда. Это был тот же большой, богатый стол с разными вареньями и тортами, пирожками и печеньями, с орехами, со сладкой водкой – но куда девалось веселье? Где дружба, братство, большая любовь? Всё буднично, холодно, уныло, сонно – без шума, который бывает от множества малышей и от внуков постарше, без сияющих глаз. Все постепенно отдалились, отшатнулись, спрятались. И благословение в канун Йом-Кипура тоже было уже не то, что прежде, когда ждали друг друга, никто не уходил один. Все вместе плакали, и плач со стонами – от больших и малых –

достигал седьмого неба.

Дядя Берл-Бендет, раньше регулярно приезжавший со всеми своими детьми и внуками к деду на Рош-ха-Шана и Йом-Кипур, ездил теперь к своему отцу Зелигу Андаркесу. И если чего и было, может быть, больше, чем прежде, так это тихих, подавленных слёз .

После Йом-Кипура разъезжались по усадьбам, и всё замолкало. Было ясно, что большой корабль разбился, и каждый плывёт на своём брёвнышке и дощечке, оставшихся от большого корабля.

Глава 2

Грусть моего отца. – Его сожаления. – Необходимость молиться с миснагидами. – Его тоска по ребе. – Ущерб. – Прежние хасидские праздники. – Реб Авреймеле. – Его прибытие в Каменец. – Хасиды варят и пекут на американский манер. – Баня. – Ребе сказал: «Давайте петь»[2]. – Трапезы. – Вздохи ребе. – Остатки. – Реб Исроэль не хочет петь. – Власть ребе. – Ехезкель разводится с женой. – Хасидские игры. – Отца собрались выпороть. – Я плачу. – Радость.

Живя в деревне без хасидов и без реб Исроэля, отец утратил свойственное ему спокойно-радостное выражение лица. Всем сердцем привязанный к своим хасидам, здесь он был «одинок, как камень».

Особенно его удручали субботы. Жаль было на него смотреть. В пятницу вечером он ещё радовался со своими младшими детьми – зажигали, может, тридцать свечей в квартире, он оживлялся и подбадривал других, но разве это было веселье! Я ему даже подпевал – хасидских напевов я помнил много (за это меня особенно любили родители жены в мою бытность женихом. Среди прочих достоинств называли также и то, что я знаю около двухсот напевов). Но я не всегда мог быть с ним рядом, и после свадьбы, когда я перестал быть хасидом, мне уже все эти хасидские напевы разонравились, кроме как сочинённые Исроэлем, всегда затрагивавшие все струны моего сердца.

Отцу я подпевал хасидские напевы без желания, и чтобы я пел с большим вкусом, он специально пел мелодии реб Исроэля. Но веселье его, как я уже сказал, было принуждённым, как честный еврей ест горькую траву на пасхальном седере. Так он «веселился» до двенадцати ночи.

Молился отец в субботу тоже дома, хотя все сельские жители на расстоянии двадцати вёрст собирались в этот день на миньян по традиции у одного из них. На этих миньянах читали также Тору, как принято везде: двое ешувников, в роли габаев, приглашали к Торе. Здесь также была ненависть и зависть к приглашённым к чтению Торы, каждый хотел получить «кусок» пожирнее, и габаям никак не удавалось всем угодить. Поэтому иногда разгорались большие споры вплоть до доносов; бывало, что отторговывали шинок или участок соперника.

Отец никогда не хотел молиться вместе с ешувниками-миснагидами. Только, если не хватало для миньяна, он был

вынужден приходить. Но для себя с ними вместе молиться не мог. У ешувника он тогда готовил Мидраш или Зоар и во время молитвы смотрел в книги. А для себя молился дома. Всегда молился тихо, и его наморщенный лоб и затуманившиеся глаза выражали сосредоточенность.

После молитвы, войдя в квартиру, громко желал «доброй субботы», шёл в комнату к матери, посидеть там немного над молитвенником или над книгой «Цена у раена» и пожелать специально ей «доброй субботы». Потом – кидуш, потом – печенье и лепёшка с селёдкой, грудинка и вчерашний цимес. Всё, как должно быть. Потом идут есть. Должна быть рыба, лук с яйцом и шмальц.

В юности он мне как-то рассказывал, что ребе из Ляховичей сказал, что у еврея только один орган имеет удовольствие от лука в субботу[3].

После всего подавали чолнт, картофель, кашу, два вида кугелей, мясо и т.д. Еда продолжалась два-три часа, пели субботние гимны и ели, пели и ели, но на лице у отца - сдержанная печаль о том, что он отлучён от города, от своего хасидского штибля, где было действительно весело и сердечно, отлучён от своих трапез и своего реб Исроэля и ото всего хасидского общества. Он и в самом деле был похож на птицу, изгнанную из её гнезда.

После еды он обычно шёл спать. Поспав, читал Тору, Мидраш, Зоар и всеми силами старался подавить свою тоску.

Но я его уже хорошо знал и читал тоску в каждом его движении. Если бы я хотя бы мог быть хасидом, он получал бы удовольствие - имел бы, с кем проводить время в хасидских ученьях и песнопеньях. Но это было не суждено, и сын его был от него далёк, как Восток от Запада. Кроме того, сверлило ему с голове, что я ещё могу, не дай Бог, стать и апикойресом, всё может быть . Славу знатока я уже так и так имел – а кто знает, что может выйти, если слишком допытываться, и ему было страшно.

Я его очень жалел. Мне это прямо стоило здоровья, и я обдумывал, как его успокоить. Пусть я буду миснагидом, но при этом – горячим евреем. Буду горячим евреем! Но как я ни старался, ничего не помогало. У него получалось, что так же, как я мог через споры сойти с настоящего хасидского пути, то кто знает, до чего ещё я могу дойти с этими спорами и выяснениями. Может – и к полному отрицанию Создателя, благословен он. Конечно, он преувеличивал мои полемические способности.

Живя в Песках, отец как-то перед Новым годом очень заскучал по своему ребе. Отлучиться из дома в это время года для арендатора было почти невозможно: вся работа в поле

сосредоточена была в районе Нового года: выкопать картошку и ссыпать на хранение в ямы; вымолотить кукурузу, вспахать и взборонить поле, приготовить зерно для посева на будущий год, вторично скосить сено, и т.д., и т.п.

Но отец не дай Бог, как соскучился по ребе. Весь год трудился, чего-то добивался, имел дело с мужиками, от чего ему было прямо тошно – шутка ли: круглый год иметь дело с крестьянами, с мужиками. Не видеть круглый год хасидского общества! – от этого у него просто душа болела, как у ребёнка, когда ушла мать. И несмотря на то, что работа кипит, следует одна за другой, несмотря на то, что время поджимает, что сотня – такие большие деньги, он всё-таки поехал в Слоним, оставив всю работу на крестьянина. В Слониме он пробыл целых восемь дней. Домой вернулся на Йом-Кипур и нашёл у себя в усадьбе тот ещё порядок. Овёс (лето было поздним) вовремя не скосили, и он пропадал в поле; картофель не ссыпали в ямы, и больше половины сгнило, молотильщик учитывал смолотую рожь не по числу дней, а по числу мешков, к работе относился халтурно, теряя на каждом колосе не меньше четырёх зёрен, и т.п. Отец таким образом потерял из-за слонимского ребе 5-6 сотен рублей, не считая расходов на поездку.

Зная о его трудном положении, я не мог представить, что он решился на такие убытки ради своего Слонима.

«Это правда, отец, - задал я ему как-то вопрос, - что ты потерпел убыток в пятьсот рублей?».

«Убытка у меня было рублей семьсот», - спокойно ответил отец.

Семьсот рублей!

«Отец! – Поднялся я с места, - Зачем тебе это было надо? Для поездки выбирают более подходящее время».

Отец со странной, мрачной грустью на меня взглянул:

«Ты никогда не был хасидом и не знаешь, что значит ехать к ребе. Нет большего удовольствия. Ребе придаёт силы для жизни».

Отец замолчал, и на его лице появилось выражение, как если бы его кто-то уколол в сердце. Я тоже молчал.

Как это случилось, что отец оказался в деревне, среди гоев – еврей, так сильно любивший еврейскую религиозную сутолоку, еврейское веселье, еврейский тарарам, даже еврейский запах!

Отец иногда погружался в свои воспоминания – единственная радость одинокого. Также и было что вспомнить. Он среди хасидов играл немалую роль и мог к себе взять на несколько дней ребе со всей его свитой, что стоило приличных денег. Я ещё помню, как сейчас, парад, устроенный каменецкими хасидами их большому гостю – слонимскому ребе.

Слонимский ребе реб Аврам прибыл в Каменец в четверг утром в фургоне, запряжённом тремя лошадьми. Рядом с ним сидели трое сопровождающих – один за старшего и два помощника. За фургоном следовали три извозчичьи фуры с двадцатью с чем-то брисскими хасидами. Также и каменецкие хасиды, около трёх миньянов евреев, вышли на Брисскую улицу, чтобы встретить ребе. И тут кучер фургона, где сидел ребе, увидев издали идущих хасидов, поехал медленнее. Каменецкие хасиды, со своей стороны, увидев издалека фургон ребе, запели свои хасидские гимны, которые особенно любил слонимский ребе. Я тогда тоже ходил с хасидами. Отец мне хотел доставить удовольствие. И вот, как сейчас, слышу я этот сладостный напевчик и, как сейчас, вижу массу хасидов, идущих из города навстречу ребе. Ах, как это было весело!

Подойдя к фургону ребе, они его окружили и запели весёлый «шалом-алейхем», который наш дорогой реб Исроэль составил по отцовской просьбе.

Первым достиг ребе "шалом-алейхем" моего отца и реб Ареле, которых ребе взял к себе в фургон.

По окончании приветственной церемонии – а продолжалась она немало, кучер стегнул лошадку. Хасиды стали хватать места на фурах. Захватили, сколько могли. Лучшими местами считались сиденья под кучером раввинской фуры. И вообще хасид сидел на хасиде, точно, как в телеге с гусями, и тогда раздалась команда:

«Поехали!»

«Вьё», - щёлкнули извозчики кнутами. Меня отец взял в фургон ребе.

«Это мой сын! ...» – представил меня скромно отец.

«Пусть будет твой сын, - посмотрел на меня искоса ребе, - горячим хасидом». Отец был очень рад.

Погнали лошадь, и хасиды запели высокими голосами. И посторонний, например христианин, мог, наверное, думать, что это едут самые счастливые в мире люди. Хотя одеты были не слишком богато .

Прибыв в город, уже гордо напевали себе под нос, и восторг был велик, словно собрались захватить крепость.

И так прибыли к нам домой. Отец приготовил для ребе большую комнату и послал к Давид-Ицхоку за большим креслом для ребе. Хасиды взяли ребе из фургона, отвели в предназначенную для него комнату, где предоставили в его распоряжение старого слугу. Ещё двое поставлены были, как строгие солдаты на стражу, у дверей. Хасиды рассеялись по другим комнатам. Тут же старый слуга вышел из комнаты ребе и

объявил, что тот, чтоб он был здоров, прилёг на диване, и пусть будет тихо. Все хасиды, как один, так притихли, что слышно было муху на стене. Боялись слово сказать.

Затем каменецкие хасиды взялись за работу. Приготовили шабат на двести человек. Работали все, а потом приезжие хасиды-гости разлеглись на скамейках. Наш большой сеновал к каждому празднику чистили, посыпали песком, а вдоль стен стелили сено для спанья хасидам. Фуры с лошадьми и с фургоном ребе отправляли на сеновал к Зелигу Андаркесу.

За неделю до этого отец с хасидами подсчитывал, что надо приготовить на шабат для такой массы гостей. Подсчёт продолжался долго. Требовались рыба и мясо, вино и водка, масло, яйца, шмальц, корица, инжир, миндаль, халы, булки, хлеб, и т.д., и т.п. Работы было немало.

Также и реб Исроэль стоял и подряд учил со своими певцами-учениками подготовленные им гимны. Между певцами был и я. Реб Исроэль потел, махал руками, притопывал ногами, командовал, крутил пальцами и мучил нашу память, требуя исполнения новых гимнов. Мы его, беднягу, бросали из холода в жар. Общество не отличалась слишком хорошим слухом, и реб Исроэль буквально обливался потом.

Реб Исроэль имел тут одну задачу: научить нас петь. Петь одному или вместе с нами перед ребе он не хотел – это был посторонний ребе... Как добрый хасид он только согласился сочинить гимны для чужого ребе!... Но петь одному – это уже было выше его сил, и во время всего веселья он себя чувствовал, как бедный и гордый еврей, который хочет уйти, но вынужден оставаться.

Отец командовал готовившими еду, распределив работу на американский манер: одна группа готовила рыбу, другая занималась жареньем, кто-то готовил спирт, а иные просто крутились, как на богатой свадьбе – и вот уж было веселье!

Для трапезы закалывали корову, телят, гуся и кур.

В пятницу хасиды просили меламедов освободить ради ребе хасидскую молодёжь от хедера. Я, однако, как "полковничий сын", освободился ещё в четверг. И когда мальчики пришли из хедеров, им тоже удалось поработать: было что делать.

Хасиды во всё любили привносить веселье, и когда готовилась рыба, хасид, например, брал рукой щуку и хлестал ею другого хасида прямо по лицу. Подымался хохот. По сути больше шалили, чем работали. Тому выливали ковш холодной воды за воротник, другому давали держать большое блюдо рыбы. Он держал блюдо двумя руками, и каждый его дёргал в это время за бороду, за пейс, за ухо, за нос... а он, бедняга, держал блюдо и

ничего не мог поделать. И вместе со всеми смеялся. Что ещё было делать?

Меня отец тоже использовал и тихо, на ухо, сказал:

"Ребе надо почитать точно, как короля"...

В четверг отец послал за банщиком и велел наутро приготовить баню на два часа раньше; а когда она будет готова, тут же сообщить, чтобы ребе пришёл в баню. Микву тоже надо подготовить. Банщик пусть держит наготове котёл горячей воды, и рано утром придут хасиды, чтобы перелить горячую воду в микву для ребе. За всё это банщик получит хорошие деньги.

Наутро пришли в баню четверо хасидов и перелили горячую воду в микву. Около одиннадцати была уже готова баня. Привезли фургон и уселись: ребе со слугой, мой отец с реб Ареле и ещё несколько уважаемых хасидов – должен был быть миньян – и отправились в баню. Отец взял также меня: он считал, что мне следовало находиться как можно ближе к хасидам, тем более – к ребе.

В бане имелся вместе с ребе миньян хасидов. Собравшиеся с большой робостью разделись и сели в парной бане вокруг ребе с шайками воды. Как мне помнится, никто не мылся. Только смотрели на ребе, на его голое тело, смотрели со страхом, смешанным с любопытством, точно, как дети смотрят на большую, чудесную игрушку.

Ребе не спеша мылся, одновременно покряхтывая и блестя глазами. В тусклом свете бани тело ребе странно белело. И мне, маленькому мальчику, казалось, что его голое тело с каждой минутой увеличивается вдоль и поперёк.

Тем временем прорвалось ещё с десяток нахальных хасидов, желавших во что бы то ни стало, хоть сквозь железо, проникнуть к ребе. Сели у двери с шайками и тоже смотрели на ребе. Главное для них было – увидеть хоть на расстоянии частицу нагого тела ребе.

Вымывшись, ребе пошёл вместе с моим отцом и реб Ареле в микву. Я тоже за ними потащился. Ребе стал по горло в воду, а борода его была полна сверкающих капель. Было странно: ребе, еврей с большой бородой, стоит в микве.

Из миквы ребе со своим обычным кряхтением вышел и стал одеваться. Хасиды – за ним. Всё это происходило очень медленно. Понятно, что от самой бани хасиды не получили никакого удовольствия. Обычно всегда мылись и парились. Но на этот раз все были полны священного трепета перед ребе. Лицо его выражало удовольствие от того, что он себя освящает и очищает перед служением Создателю, а хасидов воодушевляло каждое его движение.

Окружающие быстро натянули на себя рубашки со штанами и не сводили глаз с ребе. Его одевание длилось долго. Не торопясь, он спокойно оделся. В час дня, слава Богу, вышли из бани, а дома ему тут же подали немного сладкой водки и яичную лепёшку с куском рыбы.

В пятницу явилась вся община брисских хасидов, и дом был полон евреев – голова к голове.

На встрече субботы ребе молился у пюпитра. Перед тем, как ему подойти, наступила полная тишина - хасиды благоговейно ждали. Стоило ребе произнести «Возрадуемся» своим высоким голосом, как на всех хасидов напал великий страх. Но тут же изо всех уголков молящиеся, как один человек отвечали нараспев ребе, и казалось, что стены тоже молятся. Хоть мне было всего десять лет и я мало что понимал, несмотря на это мне тоже передавался священный страх хасидов. Дойдя до места в «Зоаре»: «Подобно тому, как»[4], он издал такой крик, будто отряд солдат ворвался в местечко, и все задрожали - голос его до сих пор стоит у меня в ушах. И все, как один, исторгли из горла ужасными голосами:

«Подобно тому, как»

«Доброй субботы, доброй субботы!» – неслось изо всех уголков по окончании молитвы.

Сразу после этого перешли в большую столовую. Ребе произнёс «Шалом-Алейхем»[5] хасиды зашумели, и весь сильно освещённый сегодня дом изливал сладостный напев – именно сладостный, без крика, и сердечный - и чувствовалось, что субботний покой охватил всех и что душа с себя стряхивает недельное бремя.

После этого ребе произвёл освящение. Глаза и уши напряжены. Каждый хасид пытается отпить из стакана ребе. Правда, не каждому это удаётся, и те, кому не повезло, чувствуют от этого большое горе.

Отца он зовёт уже «хозяин», а не Мойше, как всегда, и отцовские глаза смеются.

Присутствующие больше стоят на скамьях, чем сидят. Всего собралось больше трёхсот хасидов. Столько мест не было. Также хасиды и предпочитали не сидеть, а стоять на скамье: лучше видно ребе.

Порядок во время еды был такой: сидевшим хасидам дали одну тарелку на двоих, а стоявшим – на троих. Понятно, что сам ребе получал ужасно большие порции каждого кушанья, чтобы оставить хасидам объедки. Я заметил, что ребе любит при каждой возможности кряхтеть и сверкать глазами. Ел рыбу – и кряхтел, ел мясо – опять кряхтел с блестящими глазами, как будто

затруднялся проглотить кусок. А один раз так простонал: «о, Господи, Боже мой!» – что мне показалось, что треснул потолок. Но также я заметил, что все эти охи и вздохи только улучшают аппетит хасидов.

Покушав, он отодвинул от себя тарелку – и уже знали, что это – объедки. Началось ужасное хапанье. Стоявшие подальше просили у счастливцев, чтобы те дали им попробовать хоть крошку. Но общество было ужасно возбуждено, озабочено и эгоистично. Просившему доставалось немного. Между блюдами пели, фактически соревнуясь друг с другом. Каждый напевал какую-то мелодию, и если эта мелодия нравилась, то какое-то время, пока не надоест, его слушали. Продолжалась еда часов пять.

После еды пошли спать на сеновал. Ребе с большой помпой проводили в его комнату.

Назавтра стали молиться в десять часов утра и к двенадцати уже кончили. Пошли есть, и ребе снова кряхтел и блестел большими глазами. Повторилось вчерашнее, но с новой силой. Было пять сортов кугелей: с лапшой, сухой кугель, с вареньем, с рисом, и ещё какой-то.

Потом ребе дали большой кусок индейки, от чего он кряхтел с большой силой. Вина и водки было вдоволь.

В четыре часа после еды поплясали, что продолжалось до послеобеденного богослужения, и сразу же снова пели, но самый лучший певец, реб Исроэль, не пел. Он был коцким хасидом, и ребе послал хасида просить его к столу. Он пришёл, но всю субботу сидел молча. Это был не его праздник, не его ребе – и жалко было на него смотреть. На третьей трапезе ребе к нему обратился:

«Исроэль, спой что-нибудь».

Реб Исроэл решился - встал и начал... Никогда ещё он так не пел.Как видно, в нём звучала тоска по своему ребе. Хасиды изумлённо слушали.

По окончании субботы стало не так тесно. Многие разъехались, и в понедельник ребе последний раз обедал в Каменце. За столом уже было не- много народу, и каменецкие хасиды очень радовались, что сейчас у них есть свободное место возле ребе. Сейчас они могут созерцать благодать, покоящуюся на красивом лице ребе и слышать его поучения, заставлявшие трепетать ангелов и серафимов. И сидя вместе с хасидами, ребе как-то развеселился и разговорился.

После отъезда посторонних хасидов каменецкие пребывали на седьмом небе. Это был, как сказано, последний обед в Каменце. После обеда ребе поехал к одному ешувнику, и у нас в

доме и в местечке стало тихо, словно шумное море отступило, и разбежались волны. Там, в деревне, с ребе, беднягой, произошёл неприятный случай[6]. Поскольку идёт уже речь о слонимском ребе, реб Авраме, приходит мне на память факт, взбудораживший всю нашу семью и великолепно характеризующий влияние ребе на своих хасидов. Общество за ним готово было в огонь и в воду.

Случился он с моим шурином Ехезкелем, сыном каменецкого раввина. У этого Ехезкеля совсем не осталось детей, и его дочь Двора, молодая женщина, чей свёкр умер в ночь её свадьбы, тоже прожила недолго. И реб Ехезкель со своей женой Хадас остались на старости лет без детей.

Реб Ехезкель восемь-девять месяцев в году проводил в поездках от слонимского общества за деньгами для Эрец-Исроэль и всё время сидел у ребе, став его правой рукой.

Как-то в Пурим сидит он так рядом с ребе за трапезой. Ребе наливает два стакана вина: для себя и для реб Ехезкеля. Оба пьют «лехаим». Присутствующие хасиды смотрят с завистью, как они пьют. И, отхлебнув, ребе говорит:

«Лехаим, лехаим, Ехезкель, с Божьей помощью – через год будет мальчик».

Хасиды открыли рты, не понимая намёка ребе - ведь Ехезкель с женой уже не могли иметь детей.

Ехезкель, однако, был умным хасидом и тут же понял благословенье ребе. Очень просто: развестись с женой и взять другую, моложе. С Хадас Ехезкель прожил сорок с чем-то лет, как два голубя. Был он весёлым человеком и очень порядочным. Такой же была его жена. Оба были удивительно хорошими людьми. К тому же она была большой чистюлей и прекрасной хозяйкой, и в доме у них всё дышало милым уютом. И эти шестидесятилетние люди выглядели всегда как молодые, только что влюбившиеся дети.

Но ребе намекнул.

Реализовать намёк ребе было очень трудным делом. Но хасид – всё равно, что хороший солдат. Ребе приказал, надо выполнять. И по долгом размышлении Ехезкель написал Хадас письмо. В письме он писал, что они должны развестись, что так считает ребе. А если так считает ребе, то значит это – божье повеление и его надо принимать с любовью. И она не должна, не дай Бог, считать, что может это изменить. И так, как небо может встретиться с землёй, так может она, начиная с сегодняшнего дня, быть его женой! Он ей даёт тысячу рублей, как написано в ктубе – то есть, деньги даёт ребе, так как своих денег у него нет. И она ещё может, даст Бог, найти еврея лучше, чем он, ещё может выйти замуж, и т.д., и т.п.

Жена прочла письмо и... упала в обморок. Сбежалась вся семья, поднялся крик:

«Что он хочет, этот бандит! Ножом её зарезать он хочет! Еврей уже прожил с женой пятьдесят лет, имел с ней шестерых детей, а теперь хочет с ней развестись! Что он себе думает, что?"

И её отправили в Слоним, к ребе и к мужу. Пусть они у неё там почернеют, как земля.

Но реб Ехезкель отправился уже за деньгами для Эрец-Исроэль, поручив ребе оформить развод.

Она стала сильно плакать и жаловаться - хотя бы перед ребе - но тот её перебил: «Женщина, ты уже не можешь иметь детей, зачем же тебе в этом мешать мужу? Ты что – хочешь, чтобы у твоего мужа не было никакой надежды на возрождение в будущем мире? Он ещё может взять способную рожать. Помни - если послушаешься меня, будешь долго жить, а лет через сто двадцать попадёшь в светлый рай».

Услышав такую речь, Хадас снова упала в обморок. Но разводу обмороками помешать не смогла. Ребе твёрдо стоял на своём. И она против желания взяла приготовленный развод. После этого реб Ехезкель дал ей деньги, и она, убитая, вернулась в Киев.

Позже каждый из этой парочки, которые так друг друга любили, по отдельности сыграл свадьбу.

В Киеве, куда она приехала, ей предложили очень удачную партию с хорошим евреем с деньгами, с положением, и т.п. Справили свадьбу, и в отношении к новому мужу она также была мягкой, верной и преданной. И глядя со стороны, о них говорили, что живут они, как голубки. И конечно, это не было преувеличением.

Реб Ехезкель же взял двадцатидвухлетнюю девушку... И был, таким образом, старше своей невесты на сорок лет.

С новой женой он имел двух девочек. Ребе промахнулся. С заработком были проблемы. Слонимский ребе велел слать ему достаточно на жизнь, и реб Ехезкель отправился в Иерусалим. И странный случай: Хадас со своим мужем тоже уехали в Иерусалим, и там ей пришлось жить на одной улице со своим бывшим мужем. И очень её огорчало, что у него – молодая жена и двое детей. И она даже как-то заболела от горя.

Реб Ехезкель вёл себя, как и дома, очень по-хасидски и приобрёл доброе имя. Иные приходили к нему для благословения, но он выходил из дома с таким «проклятьем»:

«Бог тебя благословит».

Конец реб Ехезкеля был плохой. Однажды в пятницу вечером, когда он стоял у стола и произносил кидуш, обвалился кусок

потолка и ударил его по голове. Он был убит на месте.

Узнав, что случилось с её бывшим мужем, Хадас реагировала по-своему: всё время падала в обморок.

Так ребе разлучил двух людей, проживших вместе почти пятьдесят лет. Он имел власть, этот ребе!

С тем же Ехезкелем случались странные вещи. Как уже говорилось, он имел шестерых детей, и все очень молодыми умерли. Осталась у него только одна дочь Двора. Дрожа за её жизнь, её выдали замуж в пятнадцать лет. Свадьба была в Каменце. Помню, что свёкром был очень полный и представительный еврей – что называется «особа», лицо - кровь с молоком, и было ему всего тридцать с чем-то лет. После хупы он сказал, что плохо себя чувствует, что поедет к себе домой полежать.

«Я устал с дороги и ото всей свадебной церемонии», - заявил он.

Свадьба была по большей части в квартире. Играли, танцевали и кутили на чём свет стоит. Весь город пришёл повеселиться вместе с женихом и невестой. У нас была мода ставить хупу вечером, а потом – ужинать. После ужина танцевали часов до семи-восьми утра. Гости сильно увлеклись танцами и забыли, что свёкр отсутствует. Через два часа после хупы о нём вспомнили и к нему пошли. Но как же все были потрясены и напуганы, найдя его мёртвым. Он бездыханный лежал на постели. Поднялся гвалт, сбежались со всего местечка и со свадьбы.

Умер он только что и был ещё тёплый. Собравшиеся стояли растерянные, смешавшись, не зная, что делать: плакать об умершем или радоваться свадьбе. Но раввин объявил, что жених и невеста не должны плакать в день своей свадьбы. Быстро схватили мёртвого свёкра и побежали с ним на кладбище. Быстро приготовили могилу и его похоронили. Десяток евреев занимались этим богоугодным делом, чтобы жениху с невестой не пришлось плакать. Не прошло и двух часов, как его уже похоронили. Только что жил человек – и уже лежит в земле.

Жених с невестой были минуту на кладбище. Сразу же их привезли назад и стали ужинать. Плакать никому было нельзя. Потом танцевали. Головы опущены, вид убитый, в глазах – невыплаканные слёзы, только ноги с шумом подымают: нельзя жениху оплакивать своего отца. Это было что-то ужасное.

Увидев, что ужас и горе из-за только что умершего побеждают искусственное веселье и ноги останавливаются посреди танца, раввин велел танцевать маленьким детям. Положено веселить жениха с невестой. Взяли шести-восьми-летних мальчиков и девочек и велели им плясать.

Клейзмеры играли. Мне тогда было шесть лет, и меня тоже пригласили танцевать, но я не пошёл.

«Глупый, иди танцевать», - уговаривали меня пожилые женщины.

Я не слушался.

Хасидский кутёж не знал ни меры, ни границ. И когда иссякали старые шутки, сочинялись новые. Раз пришёл к нам Йоселе-хасид и позвал отца в штибль. Он был там нужен. Если зовут – надо идти. Как может хасид отказаться?

Отец меня взял с собой.

В штибле собрались все хасиды. Когда мы вошли, присутствующие с разгорячёнными лицами смеялись. Мне тогда было всего три-четыре года, и я не понимал, отчего они смеются, отчего покатываются со смеху. Но всё было очень просто: хасидское общество решило выпороть самых благородных и родовитых хасидов, чтобы те всегда помнили, что не надо собой кичиться, не надо собой гордиться. И правда: сейчас родовитые хасиды ведут себя честно, благородно, не гордясь. Но стать благородным хасидом – тоже ведёт к дефекту: поэтому надо позаботиться заранее и выпороть, чтобы до дефекта никогда не дошло.

Сама порка тоже должна проходить просто: клали на стол лицом вниз, задирали кафтан и – давай!

Сперва бросали жребий, кому ложиться первым. Делалось это так: открывали молитвенник, и чьё имя начиналось с той же буквы, что и первая буква на странице в молитвеннике, тот – ничего не поделаешь - и ложился...

Увидев, как бородатый еврей улёгся на столе, а хасиды изо всех сил стали лупить по определённому месту, я испытал дикий восторг:

«Чудная игра!" - Надрывался я от смеха.

Бородатый еврей смеялся и ойкал одновременно.

Но когда дело дошло до моего бедного отца и его положили на стол лицом вниз, и куча хасидов подняли руки с разгорячёнными лицами – тут меня что-то кольнуло в сердце и я заревел как резаный.

Ревел я изо всех сил. Хасиды застыли с поднятыми руками, потом опустили руки, и таким образом я «спас» моего бедного отца. Оказалось, что пороть на глазах у плачущего ребёнка затруднительно.

«Ай, Мойше, - сокрушённо затряс головой хасид и приложил палец к носу – не привёл ли ты сюда умышленно своего ребёнка? Он будет плакать, а мы не сможем тебя пороть...

Но отец мой засмеялся. Он мог смеяться – тогда ещё у него не

было бороды, а лет наверное было семнадцать-восемнадцать. А его возраст пороли не так ужасно, учитывая и то, что он мог выпороть другого. Но у него уже был ребёнок, и этот ребёнок мешал.

Повезло только моему отцу. Дальше лупили на чём свет стоит. Когда дошло до Лейба Кройхелера, большого шалуна и очень здорового парня, он не дался. Очевидно, что его не столько пугала порка, как была потребность сопротивляться, не дать себя взять. Он поскакал по скамейкам и столам, и тут его хватают, а там – он вырывается и стоит, хохоча во всё горло на другой скамье, на столе. И он таки сильно помучил публику. Все обливались потом. Но общество – сильнее, и его схватили. Понятно, что тот, кто был особенно набожный, сыпал теперь особенно жуткие удары. На этом Лейб Кройхелере игра кончилась. Он был последний.

Тут же поставили на стол несколько бутылок водки. Появилась большая хала с селёдкой, и усталое общество весело пило и кричало «ле-хаим». После питья – потанцевали. Плечом к плечу, рука в руке, вспотевшие, красные, воодушевлённые лица, и с громким топотом сливался живой, захватывающий хасидский напев.

Так радовались хасиды.

Радость от порки других совершенно заглушила во мне горе от того, что хотели выпороть моего отца, и от этой хасидской игры я долгое время ходил в большом воодушевлении. И позже похвалялся перед товарищами по хедеру:

"Пороли взрослых отцов семейства. Я сам это видел. Сам видел, как пороли".

«Где?» – Спрашивали меня с завистью.

«В штибле... - махал я гордо рукой. И мои товарищи по хедеру завидовали такой удаче. Ещё бы – видеть, как порют взрослых отцов семейства!

Глава 3

Снова учение. – Обман. – Моя поездка в Бриск. – Хальберштам. – Ложь. – Я еду в Белосток. – Поездка. – «Восемь персон». – Извозчик. – Мне тесно. – Не чувствую ног. – Грязь. – Сломалось колесо. – «Охотники». – Чуть не умер. – Белосток! – Тётка. – Письмо. – Моя слабость. – Я еду домой. – Глупость. – Снова дома. – Хочется путешествовать. – Варшава.

К тому времени я раз навсегда решил, что мне следует "покинуть" жену и сына и ехать учиться.

Для моей жены это всё же было тяжело. Ведь она – сирота, без матери и отца, с ребёнком на руках. Как я могу её оставить на своих родителей, при том, что мать ничем не интересуется, кроме своих «Обязанностей сердец», а отец к ней совсем охладел.

Для меня это был большой вопрос, и я очень этим мучился. Ни к какому делу я не подходил, так как был благородного происхождения, то есть занятия торговлей мне не подобали. Я также был «взрослым», солидным человеком и не мог жульничать, и в этом смысле также – самым правильным было – учиться, чего мне уже давно хотелось. С помощью образования я также смогу содержать свою жену.

Мне казалось, что из меня может получиться по-настоящему образованный человек, способный как подобает содержать свою жену и ребёнка. Взявшись за это, я года через три-четыре кончу, конечно, мои занятия и буду обеспеченным человеком. Чтобы стать, например, раввином, надо трудиться десять-двенадцать лет, а потом можно не найти места. А я знал из практики, что тот, кто хоть что-то кончил – уже обеспечен заработком, и всё больше укреплялся в своём решении. Ведь в деревне, - думал я не без тщеславия – все мы огрубеем, пропадём. Решено: что бы ни было, пусть я буду страдать, голодать, нуждаться, но не останусь невеждой. Жена моя со мной соглашалась, но только внешне. Я понимал, что в душе она лучше была бы ешувницей, хозяйкой корчмы или арендаторшей – что нам фактически было бы легко получить через деда. Но она также знала, что я этого долго не выдержу. И поэтому соглашалась.

Начать было очень трудно. Как оставить жену у свёкра и свекрови, где будет ей одиноко и не очень приятно? Ничего лучше я не нашёл. Но что делать? Ехать надо, и я решил её обмануть (ради ученья – можно), выдумать какую-то поездочку, уехать на пару недель, взяв с собой немного вещей. Например, я

поеду в Бриск, где мой старый знакомый маскиль мне покажет, как за это взяться.

Это была моя вторая поездка в Бриск ради ученья. В этом же городе жила моя богатая, гостеприимная тётя, а также и приятель, Шмуэль Майримс, с которым мы часто философствовали. В юности он был настоящий илюй, умный и оригинальный знаток. И к тому же, по старому обычаю, постился по понедельникам и четвергам во время праздника Шавуот при публичном чтении восьми отрывков из книги Шмот, каждую пятницу и десять дней покаяния[7]. Но после свадьбы стал маскилем, очень свободным и критически мыслящим, и прославился как апикойрес. Этот Шмуэль меня тоже убеждал учиться, чего бы он сам очень хотел, но не мог из-за своего магазина платков, где, как назло, дела шли совсем неплохо.

«Я бы лучше хотел быть нищим, но образованным», - говорил он.

Мы с ним договорились, что я поеду в Белосток, который тогда был в наших местах центром Хаскалы. Во главе белостокской Хаскалы стоял зять Заблудовского Элиэзер Хальберштам, берлинский маскиль, взявшийся просветить всех белостокских молодых людей. Стоило ему это нескольких тысяч рублей в год. Он также получил для этой цели большие суммы денег от своих знакомых маскилей и купцов, и хотя сам был фабрикантом платков, но больше занимался Хаскалой, чем свой фабрикой. Дело вела его жена, прекрасная хозяйка, а он занимался своим делом, стараясь оттолкнуть молодёжь от бет-мидраша и просветить её. Денег, как сказано, не жалели.

В те времена – во времена Хальберштама – в Белостоке происходили десятки разводов. Тестья разводили своих зятьёв - из тех, кто прежде были знатоками и богобоязненными евреями и превратились в «апикойресов». В Белостоке совершалась настоящая революция, и город стал знаменит как город апикойресов, занятый Хаскалой и образованием.

Второй мой знакомый, тоже маскиль, некий Бергзон, дал мне письмо к белостокскому казённому раввину, тоже маскилю, и как раз другу Хальберштама, где написал, что я ещё совсем не знаю русского - не знаю ничего, кроме Талмуда. Но, как ему кажется, из меня может получиться хороший маскиль: молодой человек из деревни, где можно заработать на жизнь, с таким энтузиазмом рвётся к образованию. Надо ему помочь, и т.д., и т.п.

Теперь, когда определился план, как мне идти к моей цели, я поехал домой, обдумывая по дороге, как обмануть жену. Скажу, что еду в Белосток недели на две. Для чего сочинил очень большую и сложную ложь: будто бы моя тётя из Белостока, сестра

матери, богачка, просила родственника своего мужа, который едет в Бриск, заехать в Вахновичи и посмотреть, действительно ли я такой способный молодой человек, как обо мне говорят. Если да, он меня захватит в Белосток, где она, тётя, уже добудет мне хорошее место, которым я буду доволен. И этого родственника, собравшегося в Вахновичи, я будто бы как раз встретил в Бриске, понравился ему, и он мне предложил съездить домой за вещами и ехать прямо в Белосток.

Ложь большая и сложная. Мне, по правде говоря, трудно было в первый раз в жизни лгать. Это для меня было хуже смерти. От одной мысли об этом я, сидя в крестьянской телеге, сильно покраснел. И всю дорогу боролся с собой и страдал: сказать ли моей жене такую большую ложь и стать зато образованным человеком или остаться ешувником в деревне, среди крестьян и свиней? Но я себя преодолел, твёрдо решив исполнить свой план.

Приехав домой, я тут же сообщил жене великую новость: так мол и так - дело, удача, внезапная встреча с тёткиным родственником в Бриске, его ко мне расположение, и т.д.

«Великая новость» произвела на жену впечатление, и мне стало ещё тяжелей на душе при виде того, как жена, бедняжка, напрасно ею взволнована.

Естественно, я пообещал забрать её в Белосток, очень красивый город, полный учёных и просвещённых людей и проч. достоинств. Жена осталась спокойной и довольной, а я смог собраться в дорогу на законных основаниях, взять все необходимые вещи, упаковаться и - уехать.

Всю дорогу лились и лились мои слёзы - от жалости к моей обманутой и оставленной в одиночестве жене.

В Бриске я повидался со своими маскилями и тут же нанял до Белостока, находящегося в восемнадцати верстах от Бриска, тарантас, запряжённый тройкой лошадей. Плата с человека была рубль пятьдесят.

Но поездка моя в Белосток оказалась такой интересной, а также такой тяжёлой – так когда-то ездили – что стоит описать её подробно.

Когда я спросил извозчика, сколько человек он возьмёт в тарантас, он ответил:

«Восемь...»

Восемь человек – кроме товара, включавшего железо, пакеты, бочки, мешки и т.п! Я ему предложил три рубля «гонорара», чтобы он взял меньше народа. Иначе можно было задохнуться. Мой извозчик согласился. Сразу же после отъезда в тарантасе уже сидело шесть человек. При этом – масса товара, и ни о каком удобстве уже не могло быть речи. И я уже чувствовал себя совсем

зажатым. И стал жаловаться:

«Позвольте, я ведь вам дал вдвое больше денег, чтобы ехало меньше народу, значит, должно ехать меньше народу. Вы ведь сказали, что мы поедем вчетвером?»

«И что же вы хотите, - ответил мне извозчик не слишком вежливым тоном, - чтобы я на ваши несколько рублей прокормил своих трёх лошадей с женой и шестью детишками – не рядом будь помянуты?»

Я уж молчу. Через несколько вёрст к нам прибавились ещё два человека, и до Высокого, что в шести верстах от Бриска, в тарантасе, слава Богу, уже сидело, скрючившись, целых десять душ – старых евреев, евреек, молодух, девиц, парней. Сидели один на другом, тот кричит: ой, нога, другой – рука. Уже никто не знает, где его ноги, а извозчик покрикивает: «Но, но!» - имея, кроме пассажиров, наверное, груза пудов сто. К тому же – осеннее время, дождь, сырость. Лошади не идут, грязь, как густая каша. Не тянут лошади телегу, он хлещет кляч, бьёт, понукает – пока они не стали совсем. И стоят. Извозчик просит всех сойти.

«Грязь... не видите...», - кидается он с кнутом к нам и к лошадям.

Начали выбираться поодиночке. Поднялся крик, потом все враз перестали кричать и стали уже ощущать ноги и руки, и все члены. Но, Боже мой, - как они болят: у того затекли ноги, другой – отлежал руку, у того – бок, а извозчик кричит:

«Пошевеливайтесь, благородные господа, не угодно ли вылезть из кареты!»

Но стоило всем как-то вылезти, как лошади совсем стали – и ни с места. Извозчик кричит опять:

«Братцы, поддайте немного, помогите! Не то мы здесь застрянем на шабес!»

Я первый толкнул телегу, хотя уже сутки не чувствовал ни рук, ни ног. Я был довольно здоровый парень, но все косточки у меня ныли. Но что делать – надо помочь толкать. Слава Богу, лошади выбрались из грязи.

«А ну давай обратно в фургон! – скомандовал извозчик, – едем». Но тут случилась новая беда: каждый хотел захватить место получше. Стали друг с другом сражаться. Началась большая борьба с руганью, так что можно было оглохнуть от криков.

Мне совсем не хотелось лезть в фургон. Было бы дело днём, я бы лучше пошёл пешком. Но ведь ночь, я не знаю дороги, и мои вещи – тяжёлые. Я стою и жду, пока кончат воевать и усядутся, чтобы как-то пристроиться в фургоне и поехать. Но войне не было конца. Всё выше взлетали голоса, пока извозчик не закричал диким голосом:

«Сию минуту садитесь!»

И тут же – помягче, с лёгкой издёвкой, прибавил:

«Дорогие господа, рассаживайтесь по местам, я, как вы видите, собираюсь погнать лошадей, и вы тут останетесь лежать в грязи. Что воевать, господа хорошие! Как бы ни сидеть - лишь бы сидеть".

Крики извозчика помогли. Народ кое как уселся, а я влез на козлы и устроился там рядом с извозчиком, свесив ноги и крепко держась, чтобы не упасть. Не дай Бог упасть – разобьёшься насмерть. Так я проехал несколько вёрст. Понятно, что не чувствовал ни рук, ни ног и весь вымок. Внутри на меня хотя бы дождь не лил.

Так мы приехали в деревню и остановились у корчмы. Тут раздались стоны, как в больнице среди тяжело больных.

«Ой, руки... ой, ноги... ой, голова!...»

В корчме сыро и темно, горит маленькая масляная лампа. За большим столом сидят крестьяне с крестьянками, пьют водку, закусывая чёрным хлебом. На больших, длинных скамьях лежат и храпят. Тут – еврей, еврейка, а там – гоя. Негде отдохнуть, негде прилечь. Большая печь тоже занята.

Только хозяйка с прислугой на ногах. Входит извозчик и кричит (говорить тихо, он, как видно, не умеет):

«Добрый вечер. Есть у вас, хозяюшка что-нибудь поесть для меня и моих пассажиров?»

«А чего вы хотите?» - спрашивает простодушно хозяйка.

«Что значит – чего мы хотим? – оглушает комнату извозчик своим криком. – Скажите, что у вас есть, и мы спросим людей, чего они хотят! Тут у меня целая куча разных людей. Одни – ободранцы, но иные, похоже, - порядочные хозяева, приличные молодые люди (жест рукой в мою сторону). Что вы хотите, юноша? – обращается он ко мне. Три рубля, данные ему мною напрасно – всё же влияют.

«Мне бы чаю», - говорю я.

Тем временем все наши "пассажиры" улеглись – кто на земле, кто – на кусочке скамьи. Прислуга разожгла огонь в печи, поставили большой горшок воды для чая. Извозчик командовал своими пассажирами. И только он издал крик: «Люди, идём есть!» – тут же пошли мыть руки перед едой. Но воды не было. Он приказал одному из своих пассажиров победнее, заплатившему меньше других за поездку, принести вдвоём с прислугой воды. Тут же принесли воды. Не было, однако, свободного стола. Крестьяне с крестьянками там пили и пели. Извозчик крикнул хозяйке:

«Чтобы был стол!...»

Но где она возьмёт стол? Тут же составили план: положить доску на бочку, чтоб служила столом. Послали бедных пассажиров принести бочку с двумя досточками, и получился стол.

Но не все могли есть. Селёдка была пересоленная и плохо пахла. Не было ложки, ждали один другого, усталые и измученные. Только я не ел ничего. Не лезло в горло. Хотелось только чаю. Но чая не было, только горячая вода с листьями от веника.

Кое-как подкрепившись, все опять полезли в тарантас – захватить место получше – снова борьба, толкотня, и если бы не страх перед извозчиком, передрались бы насмерть. Я опять залез на козлы, но увидел там нового пассажира, захватившего моё место. Мне уже некуда было приткнуться, пришлось пререкаться с извозчиком:

«Реб Яков, вы ведь с меня получили три рубля и обещали, что поедем вчетвером. Пусть уже будет восемь, десять, сто, тысяча душ, но дайте мне хотя бы кусочек места, где преклонить голову!»

На этот раз извозчик почувствовал ко мне жалость и скомандовал:

«Господа, дайте юноше место! Вы перед ним ничто! Он мне дал три рубля!..."

И просто стал каждого тянуть за руки и за ноги, не обращая внимания – еврей ли это или еврейка, молодуха или девица.

Публика, однако, не сдавалась. Напротив – поднялся шум. Все закричали:

«Смотрите, какой нежный! Дома сиди, если такой нежный!"

Начался «бунт» против начальника – против извозчика. Просто пригрозили разодрать его на кусочки.

«Ты чего берёшь так много людей! – набросились на него. – Нет у тебя для них места. А если взял, то не бери слишком нежных, у кого ещё молоко на губах не обсохло».

Слушая эту брань, я сказал извозчику:

«Лучше я пойду пешком...»

Извозчик меня оглядел своими острыми, насмешливыми глазками:

«Чтоб я так жил, вы – умница. Таки лучше идти пешком, чем тесниться, как сельди в бочке... Грубые тут едут... лучше уж – пешком».

Пришлось принять этот «дружеский» совет и пойти рядом с телегой. Я был тепло одет, идти в гору было трудно, а сверху – накрапывало, и я промок. Над плотиной каблуки цеплялись за корни, и у меня ободрались каблуки вместе с подошвами. И вот я уже иду по корням босиком. Но это же невозможно. Мне колет

ноги. Я уже чуть не плакал и стал просить дать мне какое-то место в фургоне. Извозчик с пассажирами сжалились, потеснились и дали мне какое-то местечко. Проехали мы две версты, лёжа так скорченные, стиснутые, как сельди в бочке, и каждый про себя надеялся, что вот-вот прибудем к корчме, где извозчик покормит лошадей, а мы хоть на несколько часов расправим наши стиснутые, затёкшие кости.

Но с Божьей помощью так случилось, что у фургона сломалось колесо. Мы перевернулись и вывалились наружу из фургона друг на друга. Это чудо, что была там очень большая грязь, иначе мы могли бы разбиться.

Валятся мужчины на женщин и наоборот – крики, стоны. На меня кто-то свалился головой вниз. Он ударился головой, а я – сердцем. Плачут женщины, кряхтят мужчины. Извозчик же особенно кряхтит над своим тяжким убытком. Он подождал, пока все немного успокоились и сказал тоном помягче:

"Господа, прошу вас, помогите мне снять сломанное колесо с фургона. Придётся его отнести в починку... в ближайшую деревню".

Пассажиры жалуются:

"Мы измученные, разбитые поездкой и паденьем, некормленные, не напоенные, нет у нас силы помогать".

Извозчик взмолился:

"Будьте милосердны, мне ещё ехать и ехать со своими лошадьми. Боюсь, что не вернусь до субботы домой".

Ладно – что делать. Взялись все за колесо. Но слишком тяжело. Что делать? Извозчик предлагает стащить по одному железные прутья и другую тяжёлую кладь, чтобы легче было снять колесо. Так и сделали. Извозчик ушёл с колесом, оставив нас на пустой дороге с фургоном, с лошадьми, как робинзонов на острове.

Остаться на всю ночь в поле, в холоде и в темноте, без еды и питья, как в пустыне – не самая приятная вещь. Уже третьи сутки мы едем! А люди - какая мешанина - ничего общего друг с другом, как товар в магазине, смотреть друг на друга не можем.

Ночь показалась такой долгой, как еврейский галут. Понемногу, словно через силу, стало светать, а извозчика с колесом всё нет. Ни ответа, ни привета. Тут я подал голос:

«Евреи, что нам сидеть здесь, в этом фургоне, без еды и питья? Кто со мной идёт искать извозчика?»

Вызвались «охотники», и мы пошли в ближайшую деревню. Спрашиваем, не появлялся ли извозчик с колесом. Отвечают, что не застав кузнеца, извозчик пошёл в другую деревню.

Мы тоже туда потащились и, слава Богу, нашли его там у

кузнеца. Только в четыре утра колесо было готово. Вернувшись к фургону, застали стариков и женщин в слезах – им стало дурно от голода. Больше суток уже не было ничего во рту - ни еды, ни питья! Шесть душ, убитых такими неприятностями, потащились в Белосток пешком – за пять вёрст. После всех мучений мы тоже, наконец, едва дотащились. Милая поездка заняла больше четырёх суток!

Я пришёл к тёте совсем разбитый, не чувствуя ни рук, ни ног. Тётя испугалась, решила, что я болен.

«Что с тобой, Хацкеле, - всплеснула она руками, - я позову доктора». Я говорю:

«Не надо никакого доктора. Я здоров. Но, тётушка, поездка меня доконала».

Похож я был на чёрта. Тётя, очень добросердечная, сильно из-за меня переживала. Два дня я пролежал разбитый в постели, не чувствуя ни рук, ни ног. Немного поправившись, я ей рассказал, как ехал в Белосток, и попросил придумать для меня какое-то занятие. Сказал, что хотел бы здесь устроиться, и думаю, она могла бы мне в этом помочь. О своём стремлении к Хаскале я промолчал. Тут же ляпнуть про Хаскалу перед такой богобоязненной еврейкой было бы глупо. Просвещённых людей моя добрая и богобоязненная тётка считала настоящими гоями и плохими людьми. Она мне намекнула, что такие дела не делаются быстро. Сначала пишут письмо и спрашивают, стоит ли приехать, найдётся ли какое-то дело. Но теперь, конечно, уже поздно говорить.

«Раз ты уже здесь, будь у меня и успокойся, а что касается дела, то с этим хуже. Для дела надо иметь несколько тысяч рублей, которых у тебя нет. Получить какую-то должность – тоже трудно. Ты – молодой человек, только что от Гемары. Никто тебя не знает, и ты никого не знаешь. Кстати, не знаешь ни польского, ни русского. Кроме, как на совсем маленькую должность, рассчитывать ни на что нельзя. Но ничего – не падай духом, Господь поможет.

Тётя говорила долго, но я думал совсем о другом.

После выходного, помнится, я отправился к казённому раввину с письмом от Бергзона. Прочитав письмо, он меня принял приветливо и попросил прийти к нему во вторник. Он должен поговорить с Хальберштамом и надеется, что я добьюсь своей цели. Я вернулся домой в более весёлом настроении.

Во вторник я пришёл к казённому раввину снова. Он мне тут же сообщил хорошую новость: Хальберштам готов меня поддерживать до конца ученья и приглашает к нему прийти. При личном знакомстве обдумаем вместе, как организовать моё

учение. Можно себе представить, как я обрадовался, добившись сразу же своей цели! Пришёл к тёте, сияя от счастья. Решил – пусть она знает, что я собрался учиться. Для неё это – скверна, подобная свинине. Но ничего, думал я - вот кончу учиться - она же будет рада. Даже и фанатичные евреи ценят докторов, адвокатов и инженеров с дипломами - ещё как ценят! И даже им завидуют. Ненавидят они только образованных нищих, не имеющих никаких дипломов. Таких они считают апикойресами и чем ни попало на свете.

И я ей просто рассказал, как я познакомился с казённым раввином, для чего мне нужно это знакомство, и как раввин представит меня местному богатому маскилю, который мне поможет, укажет путь к образованию, и т.д.

Новость была для неё, как нож в сердце: «А-а, - вскинулась она, - так это казённый раввин с Хальберштамом собираются тебе помочь! Эти бездельники, апикойресы, сбивающие молодёжь с пути, загубившие весь Белосток! Ой, гвалт!»

И она всё больше расходилась. К тому же, я получил в субботу от своей жены очень грустное письмо – о том, как отец на неё сердит, что она отпустила меня в Белосток, этот безбожный город. Он боится, как бы я там не сошёл с пути истинного. Он - в полном отчаянии, ходит совсем потерянный и убеждает жену вернуть меня назад в Вахновичи.

Он даже обратился за помощью к моей матери, с которой вообще никогда ни о чём не советовался, решив с её помощью устроить так, чтобы моя жена привезла меня из Белостока назад в деревню. Он рассказал маме об этом Хальберштаме, «большом апикойресе», швыряющем деньгами ради того, чтобы превратить всех белостокских молодых людей в апикойресов. Это привело уже к сотням разводов. Поэтому он очень беспокоится, чтобы Хацкель не стал апикойресом.

«Ты же знаешь Хацкеля, - внушал он ей, - он всегда любил задавать вопросы, даже и о таких высоких предметах, как вера. Не хватает только, чтобы он познакомился с Хальберштамом! Хацкель уже сейчас наполовину апикойрес, до всего докапывается, и Хальберштам как раз таких ищет, как Хацкель. Виновата его жена – барыней стала. Не хочет держать шинок или аренду. У меня сердце дрожит. Нельзя отпускать молодого человека в безбожный город. Это – отрава. Нельзя».

Конечно, он так специально говорил, имея дело с женщиной.

«Поэтому – мой совет: ты должна так повлиять на его молодую жену, чтобы она его привезла обратно. Ничего – если жена захочет, она это сделает».

Грубо себя вести с невесткой мой деликатный отец не мог. И

он теперь, ради веры и еврейства этот кусок работы поручил моей матери. И моя мать – пусть будет ей светлый рай – таки постаралась.

Понятно, что я тут же получил большое письмо, в котором моя жена подробно описывала все несчастья и беды, которые ей достаются дома.

На мой глупый мозг письмо это произвело большое впечатление. Я так побледнел, что тётя даже испугалась и Бог знает, что подумала. Я дал ей письмо, и пока она его читала, на лице у неё появилась улыбка. Она поняла, что в письме заключено такое лекарство, которое приведёт меня из Белостока назад домой.

И это письмо помешало моим надеждам, моей единственной цели. Был я очень молод и очень глуп и гордо решил, что должен отбросить все свои прекрасные фантазии об образовании, учении, дипломах. Пусть всё идёт, как идёт. Всё пропало. Я не могу и не смею убивать человека. А жена моя там погибнет. Я должен вернуться домой. Я больше не увижу ни раввина, ни Хальберштейна.

Да, я еду домой.

Я написал раввину письмо на святом языке. Поскольку, - так я начал письмо, - мой отец очень болен (снова ложь), я вынужден как можно быстрее уехать и даже не имею времени с ним попрощаться. Крайне благодарен за его доброту и никогда, никогда его не забуду.

После письма я почувствовал реакцию: с чем я вернусь домой? Какой удар по моим надеждам, и я такой разбитый. Мне, разбитому, было просто физически трудно сразу ехать домой. Тётка, довольная благополучным концом, всё же видела моё состояние и таки меня удержала:

«Успокойся, - внушала она мне, заглядывая мне в глаза, - успокойся, успеешь уехать». И я продолжал сидеть у тёти и слушать её истории – старые истории о магазине, стоявшем в самом центре рынка, о её муже, очень достойном еврее, о приезжавших к ней в гости раввинах - каждый оставался у неё на обед, а обеды у неё были изобильные, отчего она получала большое удовольствие. И всех раввинов она знала, была в курсе всех их дел, с которыми они приезжали в Белосток.

Однажды она пришла заплаканная. Я испугался:

«Тётя, что такое?»

«Как же так, - отвечала она со слезами, - В Белосток приехал реб Айзл, слонимский раввин, я у него была, просила прийти на обед, и он мне отказал... А ведь я - дочка реб Лейзера из Гродно, и с такой роднёй, как внук реб Хилеля, реб Ехезкель, реб Залман,

реб Хаим Воложинер... ай-яй-яй – не гоже ему не приходить ко мне на обед!...»

Не в силах видеть её горя, я сказал, что готов пойти и спросить реб Айзеля, в чём причина его отказа у неё обедать. Ей это понравилось:

"Пойди, пойди, дитя моё!..."

Я пошёл и спросил, отчего он огорчает дочь реб Лейзера, отказываясь прийти к ней обедать.

Раби мне спокойно ответил:

«Она-таки дочь святых родителей и очень умная и набожная женщина, но я ни к кому не хожу обедать. Там, где я остановился, там и ем».

«Но если женщина, - сказал я, - так переживает, что вы не приходите, и даже плачет..."

«Женщины, моё дитя, имеют большую силу. С помощью слёз они правят мужчинами. Она таки плачет? Ну, так скажи своей тётушке, чтобы не плакала. Я к ней завтра приду на ужин».

Я это передал тётушке, и она была вне себя от счастья. Сам великий реб Айзель, слонимский раввин, к ней пожалует!

Ещё раньше, до письма моей жены, тётя послала письмо одному нашему родственнику, спрашивая, не найдётся ли для меня какой-то должности. И как раз пришёл ответ. Родственник писал, что ему нужен бухгалтер, и спрашивал, знаком ли я с бухгалтерией. Если да, то чтобы сразу приехал. Также месяца через три ему понадобится делопроизводитель, по случаю отъезда его делопроизводителя.

Читая письмо, я понял, что никакой должности мне не получить, что надо перестать об этом думать. Если я на что-то годился – так это быть арендатором в поместье. Но аренда стоит приличных денег. Итак – корчма или маслобойня – и быть до смерти ешувником в деревне.

Короче, еду домой. А тёте пришло в голову, чтобы я поехал в Варшаву. Варшава - большой город. Там у нас есть дядя, брат деда, реб Лейзера, некто реб Йоше Сегаль, человек известный и добрый. Меня он конечно устроит. Есть у нас там и другие родственники.

«Такая семья – не сглазить бы – такое родство, - говорила тётя, - мой совет, Хацкель, - надо ехать туда.

Я ответил, что раньше я должен вернуться домой, к жене, и с ней посоветоваться.

«Конечно, конечно, поезжай, посоветуйся с женой», - согласилась тётя.

Ей не хотелось, чтобы я брал для поездки домой извозчика.

«Ты поедешь на почтовых, Хацкель. На почтовых ездят богачи,

это легче».

Так и было. Она разыскала одного подрядчика, и мы поехали вместе. Заплатили по двенадцать рублей с человека. Через сутки прибыли в Бриск. Тётя, понятно, дала мне в дорогу всяких хороших вещей, и эта поездка в Бриск против поездки из Бриска в Белосток, была для меня как рай против ада, как их описывали мои меламеды. И это таки был рай. В одном только смысле мне сейчас было гораздо труднее. В поездке с извозчиком у меня было много сладких надежд на то, чтобы учиться и выучиться, а сейчас я еду без надежд, а на сердце – мрачно и пусто, как осенью в поле.

Приехал я в Вахновичи в двенадцать ночи. Постучал в дверь. Спальня отца была ближе к двери. Услышав мой голос, отец не хотел идти открывать, и поскольку я продолжал стучать, он разбудил мою сестру и попросил её разбудить мою жену – чтобы жена открыла. Я всё это слышал из-за двери, и мне это причинило какую-то странную боль.

Жена мне открыла дверь и тут же так горько разрыдалась, что я совсем испугался. Рыдала она вдвойне: и потому, что меня не было, и потому, что она меня увидела первой. Плач от горя и плач от радости.

Чтобы прекратить её слёзы, я ей стал рассказывать, как тёткин свёкор «обманул» меня в Бриске, сказав, что как только я приеду, она меня пристроит к делу, в действительности же она сказала, что просто хотела меня видеть. Ей некогда уезжать из дому, и поэтому она хотела, чтобы я приехал к ней. Она мне оплатит расход. Так кончилась моя поездка. После того, как моя жена немного успокоилась, я ей рассказал, что тётя советует мне поехать в Варшаву. Есть там у нас большая, родовитая семья, которая мне поможет, и я там устроюсь, и т.п.

Так я говорил с женой.

Отец, очень довольный тем, что я оставил безбожный город, относился ко мне лучше. Как видно, он решил вести себя со мной по-другому. До сих пор он держался от меня подальше, а теперь понял, что от этого нет никакой пользы. И он пошёл навстречу – совсем другой тон, совсем другое выражение лица – дружелюбнее, теплее, сердечнее.

«Тебе бы следовало поискать дело, - сказал он, - аренду, корчму или что».

«Но, папа, пытался я как-то возражать, - разве я по природе деловой человек? Разве гожусь я для деревенских дел? Я хотел бы в Варшаву, папа. При таком обилии родни, я там устроюсь".

Большие города пугали отца, и он мне не дал сразу своего согласия. Решил посоветоваться с дедом. А тот просто предложил

подождать до лета, до Иванова дня[8]. В это время заключаются контракты на именья, может, удастся взять в аренду небольшое именье. Даже если не хватит денег, можно будет как-то выкрутиться.

Я остался в Вахновичах. Стал интересоваться отцовским поместьем, забросил учёные книги, которые я всегда потихоньку читал, когда отец был занят. И так прошло несколько месяцев. Отец стал во мне очень нуждаться: он уже часто ездил в Каменец - переговорить немного со своими хасидами, перекладывая на это время всю работу в поместье на меня. Работой моей он был очень доволен. Я старался, заводил новые порядки. Если бы не компаньон, отец бы меня не отпустил. Компаньон этот, реб Яков, богатый еврей, хотя и простой человек, не учёный, но очень порядочный, вложил в поместье изрядную сумму денег, и его сыновья и зятья стали сильно вмешиваться в дела. Это было не очень удобно. Из-за них для меня уже почти не находилось места. Молодые люди стали подымать голос, а я стал уступать. Отец – как «хороший делец» меня за это хвалил. Я, мол - спокойный человек, готов ради мира пойти на уступки. Молодые люди разбирались в делах даже хуже меня, и даже их часть была меньше нашей, но я понял, что если с ними вместе работать, придётся спорить.

К Иванову дню дед объездил всех знакомых помещиков в поисках небольшого поместья для меня – и ничего не нашёл. Тем временем прошло лето. Уже, слава Богу, 1-е число месяца элюль[9], а поместья для меня не находится. И дед сказал, что другой на моём месте взял бы поместье побольше, несмотря на недостаточные средства, как поступают все евреи, но я ни в коем случае не хотел начинать дело с обмана. Поэтому я отказался. И вскоре опять заговорил о поездке в Варшаву. Во мне пробудился галутный еврей, тянуло ехать, ехать, ехать.

Отец согласился - я мог ехать в Варшаву. Он полагался на нашу благородную родню. Уж они за мной присмотрят, не дадут свернуть с верного пути.

У нас уже тогда были две железнодорожных ветки: Варшава-Петербург и Варшава-Тересполь. От Бриска в Варшаву билет стоил три рубля – безо всяких извозчиков. Я выбрался в дорогу в середине элюля, уверенный, что отец теперь немного приблизит к себе мою жену. Я ведь еду с его ведома, а варшавского безбожия он не опасался: родня ведь там, родня!

Глава 4

В пути. – Поезд. – Первый «урок». – Мой дядя реб Йоше. – Его дом. – Я ищу заработка. – Речь о том, чтобы стать меламедом. – Варшава. – Общество по изучению Талмуда. – Общество хранителей субботы. – Литваки. – Дети моего дяди. – Я стал меламедом. – Меламед ходит по улице среди бела дня. – Снова в пути. – Макаровцы.

В Варшаву я ехал немного спокойнее, чем в Белосток. На ученье больше не надеялся, но решил, что в Варшаве, с помощью родных, найду какой-то заработок.

Поезд, новые, по-новому одетые люди – всё это было мне неведомо, но как раз в поезде я получил первый «урок» от большого города. Напротив меня в вагоне сидел хорошо одетый еврей с бриллиантовым кольцом на пальце. Он меня спросил, куда я еду.

«В Варшаву», - ответил я.

Как видно, приняв меня за ешиботника, он вздумал надо мной немного подшутить и спросил:

«Зачем вы едете в Варшаву?»

«Ищу какое-нибудь дело».

«Есть у вас там родные?»

«Дядя».

«Кто ваш дядя?»

«Реб Йоше Сегаль».

«Кто – реб Йоше? Чтоб его черти взяли!» - и он громко захохотал. Тут я понял, что в мире есть ещё другие люди, кроме наивных каменецких и брисских еврейчиков, и что надо быть осторожным.

Прибыл я в Варшаву к дяде, к тому самому обруганному реб Йоше. Явился и представился: я – из Каменца, внук гродненского раввина реб Лейзера. Дядя, реб Йоше, пожилой уже человек, поприветствовал меня, предложил сесть и стал распрашивать, как живёт его брат, каменецкий раввин, который, как я о том писал в первой части, умер в 1865-м году во время большой эпидемии холеры, то есть два года назад.

Я не хотел его огорчать рассказом о смерти брата и передал ему горячий привет от каменецкого раввина, которому я читал, чтобы он не утруждал своих больных глаз. Семья дяди, осведомлённая о смерти раввина, была мне очень благодарна за мою «белую» ложь и тепло меня приняла.

Дом дяди мне очень понравился. Сам он был мудрым евреем и часто выступал третейским судьёй. Большие богачи, миллионеры, повздорив друг с другом, приходили к нему, чтобы он их рассудил – не так, как было принято, что каждая сторона берёт себе доверенное лицо и оба выбирают арбитра, который выносит решение. Дядя решал сам.

Зарабатывал он также на сватовстве и был известным на всю страну сватом. Стоял у него железный ларец с огромными суммами денег – ассигнациями и золотом, которые дети реб Зимеля Эпштейна специально у него держали, поскольку после смерти реб Зимеля очень друг с другом воевали. Суд между ними дошёл до Петербурга, расходы на эту войну достигли более ста тысяч. Не добившись никакого толка, обратились к реб Йоше, чтобы он их рассудил.

Он с ними посидел в Петербурге и их рассудил. За такой кусок работы взял он пять тысяч рублей, и все остались довольны.

Многие приходили к нему за советом. Ни одно оформление партнёрства без него не обходилось. Спрашивали его мнения о любом деле и были уверены, что если реб Йоше одобрит партнёрство – оно продержится. И так и бывало.

В субботу вечером, на свободную голову, к дяде снова приходили богачи - обсуждать мировые проблемы. Как принято, он был большим политиканом, знаком был со всеми богачами, крупными торговцами, исключительно разбирался в характере каждого и мог предвидеть - кто из торговцев пойдёт дальше и быстрее других, а кто быстро свалится.

Как правило, он ни о ком не говорил плохо – считал, что язык надо сдерживать.

Он хорошо знал Талмуд и суждения галахических авторитетов, и его написанные на святом языке письма содержали много мудрости и блеска ума. Был он, к тому же, добрым человеком, которому нельзя было иметь при себе деньги. Стоило появиться у него нескольким сотням рублей, и кто-то как раз являлся с кислой миной – тут же он мог тому эти деньги отдать. Поэтому при появлении у него денег, жена его обычно внимательно следила за его руками - но мило, деликатно, дипломатично.

Первая жена у дяди умерла, когда он ещё был молодым. С ней он имел сына и дочь. Вторая его жена была дочерью варшавского переписчика Торы. Эта вторая жена с самой свадьбы обращалась к нему на «вы»:

«Пожалуйте, реб Йошеле, кушать... Пожалуйте, реб Йошеле, то, сё...»

Дети от обеих жён ходили вокруг него на цыпочках. Он

говорил – и все дети стояли, как хасиды перед ребе. Две его дочери-барышни были очень хорошо воспитаны, и с ними было очень приятно общаться. Несколько недель, проведённых мною в доме у дяди, глубоко мне врезались в память. Я оказался словно в раю, среди красивых, добрых людей. Я всегда считал себя довольно приличным молодым человеком; но в этом доме я понял по-настоящему, что значит приличие, деликатность.

В семье дяди я понравился. Они сожалели, что я неустроен, что не имею никакого занятия. Как-то дядя сказал:

"Не знаю, подходит ли Хацкель для торговли. Он слишком для этого доверчив. Пока что-то найдётся, я бы ему советовал заняться учительством. В Варшаве есть большая нужда в меламедах-литваках. Здесь можно очень неплохо прожить меламедом», - бросил на меня дядя осторожный взгляд.

Лицо моё залилось краской. Я чувствовал, что то краснею, то бледнею.

«Учительство! – Меня как по голове ударило, - Боже мой!...»

Дядя тут же начал рассказывать разные истории о меламедах, которые в Варшаве очень прославились и перешли с учительства к большим делам, большим фабрикам, и т.п. Многие из них теперь – большие богачи. Энергичные люди в Варшаве не пропадают, только шлимазлы остаются навсегда меламедами. Меламеда здесь уважают, и стыдиться тут нечего.

Так дядя пытался сгладить тяжёлое впечатление, произведённое на меня его предложением стать меламедом. При этом он на меня снова осторожно взглянул.

Было это, однако, пропащим делом. Если дядя сказал, что быть меламедом – хорошо, я уже должен быть доволен. Но ночью я не мог заснуть, думая лишь о том, что придётся быть меламедом. Но дядя сказал, что это хорошо, и тут уж ничего не поделаешь.

«Дядя, - объявил я ему, - я буду меламедом».

«Не беспокойся, - ответил он, - твоего достоинства от этого не убудет».

И тут же, в субботу днём, мне сообщил его сын, что отец хочет проверить мои знания. Придёт один знаток и проверит. Это мне тоже не понравилось – что я – мальчик?

Деликатные люди, однако, умеют всё сглаживать, и мне дали понять, что ведь надо выяснить, какие мне подходят ученики. Возразить мне было нечего, и к тому же, я сам считал, что это правильно. Примерно через час явился «хороший еврей» - пожилой человек, и дед меня позвал в отдельную комнату. Принесли Гемару, раздел «Бава меция», еврей сразу же указал на первый отрывок о том, как двое держатся за талит – случай с

одним свидетелем, с дополнениями и с комментариями Махарша. Делать нечего – я ответил, и совсем неплохо. Он тут же передал реб Йоше, что я в порядке. Дядя был рад и заявил мне:

«Ну вот - станешь варшавянином...»

Итак – учительство.

Пришлось, однако, ждать в Варшаве до после Суккот – времени, принятого для набора детей. Я бросил думать об учительстве и повеселел.

И в таком весёлом настроении часто прогуливался с сыном реб Йоше Хаим-Лейзером. Этот Хаим-Лейзер знакомил меня с Варшавой, с историей варшавских евреев, с местными обычаями, с хасидами и раввинами - дом реб Йоше был, естественно, миснагидский. Он также мне показал все местные бет-мидраши, и я с ним помолился в одном из обществ литваков по изучению Талмуда на Францисканской улице. В этом бет-мидраше молилась молодёжь из состоятельных ортодоксальных семей, получившие по шестьдесят-восемьдесят тысяч приданого. Странное впечатление произвела на меня долгополая одежда, штреймлы и закрученные пейсы. Безбородые лица молодых людей обрамляли развевающиеся, толстые, длинные пейсы, похожие на живые существа. Богатые молодые люди ходили в длинных атласных пальто, в белых чулках и туфлях. Такая молодёжь в массе встречалась на Налевках, на Францисканской ул. и на Грибной. Барышни, однако, были в декольте.

В этом Талмудическом обществе, в бет-мидраше, регулярно собирались пылкие миснагиды, чтобы критиковать хасидов. Пыл хасидов против миснагидов перебросился тут на миснагидов, выступающих против хасидов. Один, по имени Илиягу, внук Виленского гаона[10], состоятельный молодой человек и очень учёный, был у них настоящим вождём. Он носил шёлковые и рипсовые длинные кафтаны, белые чулки и элегантные туфли. Длинные, закрученные пейсы придавали ему особый шарм. И этим внешним шармом он привлекал многих со стороны.

Миснагидом он был горячим и регулярно смеялся и издевался над хасидами и их ребе. Понятно, что я тоже был очень полезен: тоже кое-что знал о хасидах. Так я весело проводил время. Ездил каждый день молиться по утрам, а после молитвы, и особенно между послеобеденной и вечерней молитвами, я уже был среди молодых людей и работал языком, на чём свет стоит. Я им словно с неба был послан, и они мне – тоже. Все смеялись над чудесами, над цадиками, над тем, что не лезло ни в какие ворота, и каждый день критиковали ещё какую-нибудь хасидскую книгу какого-нибудь ребе.

Но была одна вещь, объединявшая талмудическую молодёжь

с хасидами - это вопрос о соблюдении субботы. Существовало Общество блюстителей субботы, ставящее себе целью удерживать евреев от нарушения субботы. Обычно они объединялись в борьбе с евреями из бедных классов, на которых блюстители субботы могли больше давить, чем на богатых. Большое Общество блюстителей субботы имело свои отделения в каждом хасидском штибле, и каждый хасидский штибль делал своё дело: смотрел за тем, чтобы не торговали в субботу – не покупали и не продавали, и т.п.

Иной раз было не очень приятно смотреть, как богатый, сытый, состоящий на хлебах зятёк, набрасывался на бедную, тёмную торговку, задержавшуюся на минуту со своей корзиной. Как-то вечером, накануне Суккот Илиягу прибежал в бет-мидраш Талмудического общества, задыхаясь, как на пожар:

«Господа, торговки ещё сидят на улице и считают деньги, - крикнул он, - живо, давайте их прогоним!"

Все эти деликатные юноши тут же высыпали на улицу. Я тоже вышел посмотреть, как будут хватать торговок. Тогда ещё не было никакой канализации, женщины сидели вдоль улицы рядом на тротуаре, свесив ноги над канавой, и продавали остатки винограда и другие фрукты, нужные для праздника. Товар, по правде говоря, был несколько подпорчен, и если его не продать сейчас, он ни гроша не будет стоить. Молодые люди, тем не менее, высыпали корзины в канавы. Поднялся шум, торговки плачут и просят:

«Вон стоит покупательница, она это купит – одну минуточку!»

Но те не слушают. Я не мог на это смотреть и сказал их предводителю:

«Реб Илиягу, вы совсем не входите в положение бедных торговок и наносите им ущерб. Может, было бы правильнее сложиться и заплатить торговкам за их остатки, которые к концу праздника уже испортятся, и послать их домой. Просто взять и выбросить – это некрасиво...»

Но эти мои слова только повредили мне в их глазах. Они меня заподозрили в каком-то личном интересе.

Сделали своё дело и вернулись в Талмудическое общество. Там прочли вечернюю молитву и захотели со мной на эту тему подискутировать. Но зятьям на хлебах пора было идти домой есть, и нашу дискуссию отложили на завтра, на праздничный день. На завтра все снова пришли в бет-мидраш, и между нами состоялась дискуссия. Я высказывался полчаса, доказывая, что с бедными торговками всё-таки так поступать нельзя, и что не в этом состоит истинная набожность. С помощью дискуссии я к себе привлёк многих, которые со мной согласились, но некоторые

из богачей, и среди них их вождь Илиягу, остались при своём мнении – что они поступили по закону, а я – уже несколько свернул с пути. От меня также отшатнулись некоторые особенно фанатичные. Те, которые со мной остались, стояли за меня железно, но видя, как с каждым днём меня всё больше сторонились, я понял, что учительство моё от этого эпизода пострадает. Много ли надо, чтобы испортить репутацию? И мне это нужно?

Так и случилось. Иные из тех, кто раньше соглашался - отказались дать мне детей.

В Варшаве я столкнулся с ненавистью польских евреев к литвакам, напоминающей отношения двух воюющих народов и прежде мне совершенно незнакомой. Совершит ли литвак проступок – осуждают всю Литву, и презрение к маленькому кусочку земли под названием Литва было просто неописуемо.

Раньше, перед восстанием 1863 года, принят был в Варшаве подённый учёт: всякий иногородний еврей, не прописанный в Варшаве, должен был за каждый прожитый день платить пятнадцать копеек. Понятно, что шестьдесят лет назад пятнадцать копеек было слишком большим побором, поэтому в Варшаву приезжало совсем мало литваков. Одесса тогда была единственным городом, где литваки искали работу, хотя Одесса от Литвы дальше, чем Варшава. Другого большого города, чтобы туда ехать, у литваков не было. Но даже и такое небольшое число литваков ненавистно было польским евреям, и другого слова, как литвак-свинья, у них для литваков не было.

После восстания Варшава широко открылась для евреев. Никакого побора больше не брали, и поскольку первые в то время в России две железнодорожные ветки Варшава-Петербург и Варшава-Тересполь, проходили через Литву, то понятно, что за несколько лет в город прибыло приличное число литваков, и ненависть усилилась.

За что, однако, получил литвак прозвище «свинья»? Почему не вор, не обманщик или что-то другое? Объясняется это просто. Литва – бедный район, нет там никакой промышленности, земля скудная, песчаная, помещики тоже бедные, и приезжая в Варшаву, жили литваки тоже плохо, скудно, мрачно, и что касается еды, то ели они хлеб с луком, редькой или чесноком, запивая сырой водой. И никакой разницы, много ты зарабатывал или нет. От бедной жизни литвак не отказывался, оттого и получил у польских евреев прозвище литвак-свинья.

И прозвище за ним осталось поныне, хоть литваки теперь тоже научились хорошо есть и пить, и в смысле роскоши следуют Варшаве буква в букву: очень любят украшения и театр и тратят

деньги широко.

С детьми дяди я заходил в разные дома. Там всё ещё высказывались по адресу «литваков-свиней», особенно дамы. Каждая дама рассказывала какую-нибудь нелестную историю о литваках. Но одним бранным словом для литваков дело не обходилось. Для них ещё было припасено красивое прозвище «литвак-голова крестом» из-за склонности к просвещению. В то время, как польские евреи спали, и наибольшую роль у них играл ребе – у литваков возникло много маскилей с громкими, прославленными именами, зовущими сонный еврейский мир к просвещению.

Часть евреев в Варшаве также была увлечена культурой. Но уже тогда возникли в их среде ядовитые ростки ассимиляции, и они совершенно отделились от ортодоксов. Носили короткое платье, женщины не покрывали голову париком, говорили только по-польски, а не на идиш. Ортодоксы называли их немцами, считая, что для таких гоев это ещё деликатное имя. Ортодоксы строго следили, чтобы дети их не разговаривали и не встречались с детьми «немцев», чтобы «немцы» не сделали из их детей гоев.

У литваков, однако, происходило смешение. Внешне не было никакой разницы между ортодоксами и интеллигенцией. Длинный кафтан вовсе не был вывеской для ортодокса, и набожный еврей мог быть одет совсем по-европейски. Хаскала более или менее уживалась с религией. В долгополой одежде мог ходить полный апикойрес, а в короткой – вполне набожный еврей.

Естественно, что после польского восстания явилось много всякого рода литваков, и польские евреи не могли различить между литваками - кто есть кто: кто набожный, кто маскиль, а кто полный апикойрес. Поэтому они литваков очень боялись: как бы те им не навредили со своей Хаскалой и безбожием; и тогда выплыли такие прозвища, как «литвак-голова крестом», чтобы меньше с ними сближаться.

Просвещение – во-первых, короткое платье – во-вторых. Короткое платье и просвещение – это гойское, крестоголовое. Это – источник второго прозвища. Я уже говорил, что сын дяди часто со мной ходил по улицам. И по дороге знакомил меня с бурлящей варшавской жизнью и отвечал на мои провинциальные вопросы, которыми я его забрасывал.

Помню, как однажды, проходя с ним по Налевкам, встретил я сына Израиля-Хаима Фридберга, парня, немного моложе меня. Одет он был по-немецки. Мы, естественно, расцеловались и разговорились. Он мне рассказал, как сразу же после восстания отец его приехал в Варшаву, и сейчас они здесь живут. Молодой человек был рад встрече со мной и пригласил меня в гости. Его

семья была очень предана нашей семье. Эта встреча меня тоже очень обрадовала. Я ему обещал прийти. По окончании нашей мимолётной и радостной беседы я огляделся в поисках моего родственника. Ищу, ищу, а его нет. Смотрю во все стороны и не нахожу. Спрашиваю Фридберга:

«Ты не заметил, куда делся молодой человек?» Он рассмеялся:

"А ты не заметил, что как только он увидел, что ты расцеловался с «немцем», он тут же убежал, как от огня".

Я этого никак не мог понять. Я попрощался с Фридбергом и пошёл домой. Там ко мне первым бросился навстречу мой родственник и категорически заявил, что, если я хоть раз, идя с ним по улице, встречу "немца" и остановлюсь с ним поговорить, то он, мой родственник, со мной больше не выйдет; что для него самый большой позор – стоять с "немцем". Также и я - сказал он мне -взявшись быть в Варшаве меламедом, не должен встречаться с «немцами», не должен вести с ними никаких разговоров. Иначе хозяева тут же отберут у меня детей, будь я даже величайший в мире гаон.

Это меня странным образом лишило мужества. Все мои усилия были направлены на то, чтобы оказаться среди маскилим и как-то освоить науку, а тут я должен сторониться людей, среди которых я только и могу этого достичь, не должен встречаться с интеллигентными евреями.

Если так, то какой толк в Варшаве? Уж лучше жить в деревне – пропадать, так пропадать. Снова я с горечью понял, что мне надо заняться деревенскими делами, корчмой или арендой, что этим всё кончится. Лучше быть в деревне кем-то, чем в Варшаве никем - быть меламедом - лицемером, вести себя, как фанатик среди фанатиков – на что я совершенно был неспособен и от чего достаточно страдал у отца.

Я почувствовал раскаяние. Я так мучаюсь в поисках заработка в большом городе – зачем мне это! Всё напрасно – силой ничего не добьёшься. И я решил ехать назад домой.

Но сразу уехать я не мог: для меня уже была готова должность меламеда. Нельзя быть свиньёй, дядя так старался. Надо начать.

Так прошли Суккот. К Фридбергу, которого я действительно любил, пойти я не мог – не положено. Учительство моё уже, слава Богу, опиралось на шестерых хороших мальчиков, учивших Гемару с дополнениями, по пятьдесят рублей с мальчика. Для провинциального молодого человека тех времён - совсем не плохо.

Я снял комнату на Францисканской улице и во вторник, сразу

после Суккот, уселся на стул меламеда. В девять утра пришли мальчики в вельветовых шапочках, белых чулочках, с длинными закрученными пейсами, и уселись вокруг стола. Я – сверху на стуле. Открыл Гемару на трактате «Бава меция», начал и не смог удержаться - расплакался. Обливаясь слезами и всхлипывая, выбежал из комнаты. На вопрос любопытных прохожих чуть слышно отвечал:

«У меня тяжело заболел ребёнок».

Наконец, взял себя в руки, вернулся в хедер и стал заниматься. Среди моих учеников было несколько тугодумов, и пришлось очень постараться, чтобы вбить в них страницу Гемары. Как видно, меня обманули, так сильно расхваливая детские головы.

В четверг я вышел за покупками, оставив мальчиков одних в хедере и сказав, что ухожу на час. Вернулся через два часа. Когда я вовремя не вернулся, распущенные дети пошли домой и рассказали мамам, что раби "ушёл за покупками с утра" и до сих пор его нет. Кстати, на улице я встретил одну из родительниц, которая, конечно, сочла моё хождение среди бела дня, во время занятий, серьёзным проступком. Тут же в доме дяди стало известно, что я себе прогуливаюсь по улицам, и там были поражены:

«Чтоб меламед ходил среди дня по улицам!»

Это был первый удар по моему учительству. На душе у меня было тошно. Чувствуя, что терять мне нечего, я пошёл к Фридбергу и подробно рассказал о своём положении и т.п.

«Я сейчас, братец, меламед, - пожаловался я, - большое достижение!»

Фридберг меня внимательно выслушал и предложил развёрнутый план. А именно – я должен ехать в Макаровцы, усадьбу, находящуюся в Гродненском уезде, где живёт мой родич, богатый малый, управляющий в имении одной помещицы. Человек он очень хороший, также и маскиль, и я при нём уж наверное устроюсь. Мне это очень понравилось. Я тут же отказался от учительства.

Дядя сказал, что это глупо – множество способных молодых людей околачиваются в Варшаве годами, пока получат должность меламеда.

«Учительство – ходкий товар, - доказывал он мне, - подумай, жалко его терять".

Но мысли мои уже были далеко. И слова дяди были пущены на ветер.

Глава 5

Мой дядя Хоне Матес. – Совсем другой дом. – Покой. – Сендер Розенблюм. – У меня появились надежды. – Помещица Любовичева. – Энергия Розенблюма. – Его любовь к помещице или наоборот. – Как к этому относятся. –Работа. – Я остаюсь в Макаровцах.

В одно прекрасное или скверное утро я отправился в Гродненский уезд. Пока я доехал до Кринков, у меня не осталось в кармане ни гроша, чтобы добраться до Макаровцев, находящихся оттуда на расстоянии восьми вёрст. Я расспросил в Кринках о Сендере Розенблюме из Макаровцев. Мне сообщили не много не мало, как то, что в него влюбилась помещица. Будучи, однако, не первой молодости, она, помимо любви, вручила ему имущество стоимостью в сто тысяч рублей. Он же, по рассказам людей, - большой апикойрес, но очень хороший, честный и добрый человек и большой филантроп.

Нанимаю телегу в Макаровцы и, чтобы заплатить извозчику, закладываю в Кринках одежду. В Макаровцах извозчик меня привёз к дяде Хоне Матесу, отцу Сендера и брату моей бабушки Бейлы-Раше. Дядя жил в собственном доме, рядом с имением, вместе с разведённой дочерью. Я представился как внук Бейле-Раше, и меня тепло приняли.

Дядя – учёный еврей и маскиль, очень умеренный, либеральный, способный отпустить добрую шутку, которая для кого-то будет как колючка в бок. Уже два года, как он ослеп: пар в кринковской бане его внезапно ослепил, но говорить с ним – очень интересно. Дочь – хоть и очень некрасивая, но умная и деловая.

За городом – поле и лес и добрые, открытые и простые провинциальные евреи, с которыми мне легко дышалось. Я напрочь забыл свои беды; также и дядя был мне рад, имея с кем проводить время. Я ему рассказывал о своих приключениях.

Дядя сообщил сыну и велел мне ждать.

«Всё будет в порядке», - обнадёжил он меня.

Вечером прибыл Сендер с помещицей. Я не поверил своим глазам. Сендер оказался по-настоящему красивым молодым человеком двадцати восьми лет, помещица, пожилая женщина с живым взглядом, держалась очень просто, но и хитро.

Они заговорили со мной по-польски, которого я, к сожалению, не понял. Я внимательно к ним присматривался.

Через час уехали. Дядю они вывели из дому и побеседовали обо мне тихонько в карете. И пришли к выводу, что я им определённо подхожу - им как раз нужен молодой человек, что дядя мне тут же передал. В доме там очень удобно – с умным, образованным евреем. Предстоит, к тому же, хорошее дело – чего ещё надо?

Долгими зимними вечерами дядя мне рассказывал о своём сыне. Кончил он небольшую государственную школу. Был очень способным к языкам и прилежным мальчиком и в совершенстве выучил русский, немецкий и польский, бывший в Бриске главным языком. По достижении сыном двадцати лет дядя попросил Арон-Лейзера найти ему хорошее место в акцизе. Дед устроил его на должность смотрителя на винокуренном заводе у помещика. Там он понравился управляющему, и когда тот перевёлся в Гродненский уезд, то взял Сендера с собой и поставил его на ещё более высокую должность. Поселился он в поместье у самого города, на который шляхтич Любович держал аренду. Любович был очень богатый человек – на двести тысяч рублей, но очень простой. Он сам ходил в поместье босиком, также и помещица. Проезжая через поля, он имел обыкновение держать полные карманы варёного гороха и грызть по дороге.

Помещица была из очень благородных. Первый её муж был главным ревизором Гродненской губернии. Но главный ревизор заболел чахоткой и болел четыре года. Умер в большой бедности. Ей не с чего было жить. Но была она очень умна, и во время пребывания министра юстиции в Гродно, ещё при жизни мужа, он провёл у них два часа и, поразившись её уму, предложил представить её императрице.

Она долго ждала, когда министр исполнит своё обещание, но министр вскоре подал в отставку, а она после смерти мужа сильно обеднела и ей пришлось пойти в какое-то имение экономкой; тем временем представилась партия с богатым Любовичем, пожилым уже человеком, но она согласилась: лучше быть самой себе хозяйкой, чем служить у чужих. Умная и ловкая женщина так устроилась, что муж её слушался, как малое дитя.

Он был скуп, и она себя внешне вела так же, как будто соглашаясь, но тайно делая то, что ей было угодно. Кстати, она и сама была довольно скупой.

Сендер появился у неё в поместье в качестве смотрителя на винокуренном заводе. Любович со временем умер, оставив ей наследство в сорок тысяч рублей. Тридцать тысяч было у неё раньше. Сын Любовича, доктор по профессии, получил поместье, а она сняла Макаровцы у помещика Доброжинского, большого шарлатана и пустого человека. Ей он сдал поместье на двадцать четыре года, а за то, что платила она наличными, то по истечении

двадцати четырех лет дёшево продал, с учётом долга в пятнадцать тысяч. Теперь всё сосредоточилось в её руках. Розенблюм отказался от акциза и стал её экономом. Переживать из-за акциза ему не пришлось, поскольку так и так вскоре акциз перешёл к казне, и почти все евреи были уволены.

Розенблюм крепко взялся за хозяйство. Стал хозяйничать всеми способами. Очень сильный и способный человек, он сумел привести именье в порядок. Работал он день и ночь, ни минуты не отдыхая, и для повышения духа рабочих делал то же, что они: парни возили навоз, и он также возил навоз; возили сено – и он возил; укладывал, грузил, пахал, боронил, сеял, жал, молотил, сгребал граблями в амбар – всё вместе с рабочими. Зимой он будил с фонарём всех парней в четыре утра и шёл работать в амбар. И таки хорошо им платил.

Оттого и делалось у него втрое больше, чем у других, а ночью, после работы, он ужинал с помещицей и читал немецкие экономические журналы.

Для фруктовых садов он взял хороших садовников, очищая садовые воды, чем прежде пренебрегали. В свежую воду пустил самых лучших и самых дорогих рыб, а рядом построил живописный мостик с цветами кругом. Поставил также скамейки, и всё обновил и украсил.

Стены в сараях для скота были плотно обложены сеном, чтобы ни малейшего не проникло ветерка. Было там тепло, как в доме. Куплено было много коров. За три года поля – вместо пяти копен ржи и пшеницы с морга[11] – стали давать по восемь, и дошло до того, что местами земля давала по целых двенадцать копен. И всё это – за три года.

Помещица была очень довольна его работой, его талантами и старанием. Она находила в нём все достоинства: способный, добрый, работящий, смелый, мужественный, красивый, интеллигентный, умный; способный работать, как прирождённый крестьянин, и держаться, как прирождённый граф; по-польски говорил, как прирождённый варшавский поляк, и по-русски, как москвич.

Помещица в него «влюбилась по уши», по выражению Шомера[12] и, как видно, в порыве безумия, записала на него всё состояние.

С другой стороны, что ей? «Возлюбленный» её – человек, не какой-то шлимазл, и от денег будет достаточно пользы.

Помещица любила лошадей. У неё разводили самых лучших лошадей, это была её слабость. Когда-то за её лошадей платили огромные цены. Лошади – чистые, породистые, стройные, она их холила, как детей.

Кареты у неё были самые лучшие. Да простит она мне – не её были кареты, а Доброжинского, его собственность и владение. Одни сани, помню, были выше дома, обитые снаружи прекрасной, мягкой кожей, украшенной золотом и серебром, а изнутри - дорогим бархатом, со всякими украшениями. В этой карете было на четыре угла два бархатных дивана. В сани приходилось запрягать шестерых добрых лошадей: обычная четвёрка едва могла тащить такой «корабль».

К ним приезжало много гостей – окрестные помещики из Кринков, Соколки и Берестовицы, доктора, посредники, мировые судьи, асессоры, и т.п. Из Гродно в гости приезжали исправник с чиновниками, иногда с жёнами, иногда одни, проводя дни и недели.

Гостей не шокировало происхождение Розенблюма, а может быть, они этого предпочитали не выказывать. В присутствии самых знатных гостей Розенблюм делал своё дело, так же и она держалась свободно среди множества богатых гостей. Пили у них почти так, как у евреев: маленькими рюмками сладкую водку...

Я уже сказал, что очень был рад поехать в Макаровцы. Сердце билось с надеждой: при таком богатом родиче не придётся беспокоиться о заработке. К тому же - меня ждёт Гродно, город Просвещения, с книгами и яркими людьми.

И я остался в Макаровцах.

Глава 6

Поездки Розенблюма в Гродно. – Невеста. – Сложное положение. – Интриги помещицы. – Кузнец. – Интриги усиливаются. – Невеста плачет. – Отъезд домой. – Помещица победила.

Розенблюм часто бывал в Гродно, находящемся в пяти верстах от Макаровцев, где познакомился с маскилем А.Г., державшим шестиклассную классическую гимназию. Розенблюм влюбился в дочь А.Г., красивую девушку. Не знаю, рассчитывала ли хитрая Любовичева, что результатом её любви к Розенблюму будет свадьба. Вернее всего, она понимала, что это просто развлечение на несколько лет, а потом, когда она постареет или ослабнет, Розенблюм женится на той, кого его душа пожелает. Но внешне этого никогда не показывала.

Она узнала о его чувствах к гродненской барышне и сделала вид, что согласна на его женитьбу на дочери А.Г. Было это, однако, ненормально: жениться и остаться с молодой красивой женой в доме помещицы, имевшей к нему свои любовные претензии. И, давая ему свое согласие, она в то же время, как видно, обдумывала такие планы, которые бы повредили его искренней любви к девушке.

Сильно увлечённый Розенблюм приказал запрячь карету, сообщив помещице, что едет в Гродно подписывать условия. Не долго думая, она достаёт свой бриллиантовый браслет и на три тысячи рублей шпилек и предлагает ему в виде подарка невесте. И он, довольный, уезжает. Подписав условия, он возвращается в добрый час к помещице и она ему желает счастья.

В мае, во время всеобщего отъезда на дачи, не дожидаясь, чтобы он спросил, нельзя ли пригласить невесту на лето, Любовичева заранее предлагает ему послать за невестой карету.

«Я уж постараюсь, - намекает она ему, - чтобы невеста получила полное удовольствие». И советует ему устроить такие подходящие для время- провождения молодой пары вещи, как красивые качели, красивый маленький экипаж, и т.п.

15-го мая он едет с двумя лакеями в Гродно и привозит невесту к себе в поместье. Помещика тепло и нежно расцеловалась с невестой, ей дали отдельную комнату с прислугой, и жених с невестой приятно проводят время. Из-за невесты он уже меньше работает, хоть на дворе – лето, работа горит, но такова власть женщины!

Помещица даже «сердечно» улыбалась, на них глядя, но в её улыбке немало скрывалось досады и желчи. Прежде он проводил время с ней, а теперь здесь – невеста, к тому же – молодая. И кто знает – что случится, когда невеста станет женой: не прогонит ли она её из именья? Всё её имущество ведь записано на него! Как она могла сделать такую глупость! Это было, наверное, самое тяжёло в её жизни время.

Как во всех больших усадьбах, у помещицы был кузнец; звали его Давид. Как было принято у всех помещиков, державших при себе своего еврея и ему всё доверявших и спрашивающих у него совета, также и Любовичева имела кузнеца специально для своих тайных дел и махинаций.

Как раз в то время, когда Розенблюм был женихом, кузнец у неё был единственным советчиком; и ему она излила всё своё сердце.

У неё была странная слабость к евреям. Она любила расспрашивать простых евреев о всех еврейских правилах и обычаях, об их образе жизни, о самых интимных вещах, желая всё это знать и понимать. И зная евреев, по большей части критиковала еврейских женщин, считая их большими шлимазлницами, плохими хозяйками, распустёхами, и т.п. В особенности, они ленивы. Из-за её острого языка получилось так, что все её ближайшие соседи-евреи день и ночь усердно работали.

Помещица всё время думала о молодой парочке, что её лишало покоя, и как-то утром за завтраком, когда невеста ещё была в спальне, вдруг обратилась к Розенблюму:

«Знаешь, что я подумала? Ты держишь в банке двадцать тысяч под низким процентом, а мог бы их дать сейчас тестю А.Г., чтобы он их передал в надёжные руки под больший процент. Он мог бы взять семь-восемь процентов. Жалко же – ты запросто можешь иметь тысячу рублей в год».

Расчёт у неё был простой: сватовство ведь расстроится – она его не допустит. Двадцать тысяч рублей очевидно пропали. Это сильно повлияет на Розенблюма, и впредь он поостережётся думать о сватовстве. Двадцать тысяч рублей – это сумма, и Розенблюм десять раз подумает, прежде, чем искать невесту. Денег помещице было не жаль: всё равно это уже были не её деньги. Ради её планов Розенблюм мог и пострадать.

Влюблённому и сбитому с толку Розенблюму предложение понравилось, и он его сразу выполнил.

Тут Любовичева стала сильно льнуть к невесте, выражать ей свою большую любовь и преданность, как любящая мать к единственной дочери и специально баловать, убеждая её, что она

может спать хоть пятнадцать часов в сутки, в то время, как Розенблюм спал не больше четырёх-пяти часов, и т.п.

Она ей внушала, что в молодом возрасте очень полезно много спать. Невеста, которой теперь было нечего делать и которая, кстати, и дома спала по добрых десять часов, действительно очень разленилась, не заставила себя просить и – спала.

Помещица дала ей трёх служанок и велела им вокруг неё танцевать – одна чтобы заботилась о её еде и питье, другая была бы при гардеробе – одевать её и раздевать, чтобы молодой панне не пришлось шевелить пальцем, - а третья, чтобы была при прочем, что потребуется. Всем троим было строго-настрого приказано, чтоб юной панне не пришлось, Боже сохрани, поднять с земли соломинку.

Утром ей приносили в постель завтрак и чай, а в десять в спальню к ней приходила помещица, усаживалась с ней рядом, гладила её и гладила, говорила и говорила, проводя с ней таким образом время в беседах – долгих, сладких и фальшивых, удерживая её в постели до двенадцати часов.

Розенблюм с девяти до десяти завтракал, и тут помещица мимоходом, между прочим, передавала ему привет от невесты, всё ещё лежавшей в постели. И что тут такого? Куда ей торопиться? Вот она и лежит. Часов в двенадцать он шёл обычно к невесте; та обычно, действительно, лежала в постели.

А если он замечал помещице:

«Как это человек может лежать полдня в постели?» - Она на это сладким голосом отвечала:

«Ребёнок ещё... Ничего...»

В три часа Розенблюм приходил обедать, но и тогда возле него не было невесты, чтобы с ней вместе есть – невеста сперва одевалась и мылась часа два. Сразу после того Любовичева давала ей чего-нибудь сладкого, чтобы не было аппетита обедать, и устало заявляла:

«Я бы прилегла у тебя в спальне. Полежи со мной, поговорим немного. Так приятно поговорить...»

А ближе к трём часам помещица шла проверить, пришёл ли уже Розенблюм обедать, оставив слабую, наивную девушку в спальне. На его вопрос:

«Где невеста?» - следовал тихий, мягкий ответ:

«Она ещё лежит на диване». Розенблюм начал ненавидеть девушку, на- столько склонную к лени. Его щёки краснели от гнева.

«Ну, и что? – мягко и сладко вступалась помещица, - юное дитя... неважно...»

Розенблюм, так любивший работать, действовать, никак не

мог с этим согласиться, и постепенно изменил своё отношение к невесте. Стал от неё отдаляться, ещё сильнее отдавшись работе.

Милая, наивная невеста заметила перемену и жаловалась на неё помещице. Помещица же говорила, что Розенблюм – человек труда и вообще – далёк от любви и семейного счастья.

"Для него, - говорила, надув губы помещица, - есть только работа, работа и работа... Он сам вывозит из конюшни навоз; он также страшно скуп; если ты видишь в нём какую-то щедрость, то это всё моя забота; я не даю ему скупиться, что ему милее всего на свете.

Бедняжка-невеста, ничего не понимая, на это ответила:

«Ничего, после свадьбы он себя поведёт иначе. Я не дам ему так много работать. Я ещё перед свадьбой с ним об этом поговорю».

Помещица возразила специально холодным тоном:

«Разве что-то поможет? Безнадёжный случай...»

Так действовала помещица в соответствии со своим планом, напоминавшим интриги из какой-то мелодрамы.

А Розенблюм теперь с ней и советовался – не отказаться ли ему от сватовства? К девушке он охладел. Сам он не мог ни на что решиться, но она, умная женщина, его отговаривала, якобы держа сторону невесты:

«Невеста ещё станет у нас человеком, - внушала она ему фальшиво и хитро. – Конечно, она шлимазлница, лентяйка и сонливица. Постель ей всего дороже. Но это – только до свадьбы. С другой стороны – зачем тебе прекрасная хозяйка? У вас будут горничные и слуги, и всё будут держать в порядке».

«Нет, и при горничной надо быть хозяйкой».

Понятно, что из слов помещицы он хорошо понял, что это для него – никакая не невеста, как бы она его при этом ни уговаривала. Её уговоры были хуже иных отговоров.

И он в первый раз обратился за советом к отцу, чего он прежде никогда не делал.

Отец ему убедительно доказал, что помещица не в силах и не должна быть в силах выдержать, допустить, чтобы он женился.

«Это – очень просто, мой сын. Ты – всё, что у неё есть. Сама по себе она ещё не очень стара. Но ты приведёшь в дом – в её дом – молодую, красивую женщину. Она лопнет – должна лопнуть! Она говорит о свадьбе – но не всерьёз. Это – только такой маневр, мой сын. Не знаю, сможешь ли ты вообще жениться, пока ты - у Любовичевой в доме.

Посреди лета, когда уже поспели все овощи в огородах и фрукты в садах, помещица сказала, что следует послать свату в Гродно фургон с овощами и фруктами.

«Сват ведь… нехорошо, - посоветовала она».

Запрягли трёх лошадей в большой фургон, загрузили фруктами, маслом, хорошим сухим сыром, и Давид-кузнец поехал, чтобы отвезти всё это в дом свату.

Потихоньку помещица сказала кузнецу, что если его спросят, как проводит дочь в Макаровцах время и как выглядит, то сделать кислую мину - мол ей, дочери, там не так хорошо. Конечно, к нему начнут приставать и расспрашивать подробности – что с дочерью, тогда он должен словно против воли признать, что ей там очень грустно. Розенблюм относится ней не как к невесте, для него существует только одна Любовичева, а невеста не пользуется в поместье никаким вниманием. Никто ей не выказывает почтения, одна только Любовичева проявляет к ней симпатию. Но невеста в ней очень обманывается, она не знает, что её любовь и дружба – только внешние, а в душе она смертельно её ненавидит и всячески старается оклеветать. Кто знает, в какое несчастье помещица может её втравить. Он же любит помещицу, а не невесту. Помещица ведь чрезвычайно умна, а хитра – ещё больше. Кто знает, что она может вытворить.

«Мне просто сердце разрывает смотреть на вашу дочь, - должен он им сказать, - Нет никого, кто бы объяснил ей её положение. Счастье, что мне довелось отвести вам подарок, а заодно и передать её горе».

В доме свата поднялся стон: единственная дочь, такая удачная. Ей предлагали хорошие партии – с докторами, юристами и т.п. много зарабатывающими личностями. Но на них не смотрели – считали, что дочь будет счастливей за таким богачом. Но они проглядели, что у Розенблюма такие дела с христианкой, что она ему передала всё состояние. Быть вместе с такой христианкой – точно, как быть двум котам в одном мешке. И кто знает – может дочка уже так в него влюбилась, что её нельзя с ним разлучить? В доме воцарился траур. Стали размышлять – что делать, с чего начать? Решено было написать ей письмо и послать его с кузнецом, чтобы тот передал ей прямо в руки. В письме написать, что они, её родители, очень о ней беспокоятся и просят, чтобы она приехала ненадолго в Гродно. Они к ней приехать не могут из-за помещицы. Уже два месяца, как она находится в усадьбе, лето скоро кончится, она уже может съездить домой.

При этом кузнецу сказали, чтобы он передал дочери, что отец с матерью как-то неспокойны за неё, и что мать плачет. Завистники как-то плохо говорят о её женихе.

Давид-кузнец проработал вопрос со всех сторон и ещё больше говорил, чем было нужно. Приехав домой, передал письмо невесте, прибавив что надо и не надо от себя. Потом рассказал о

своих действиях Любовичевой, сообщив, что со своей стороны они сделают всё возможное, чтобы свадьба не состоялась.

Также и Розенблюму, по совету помещицы, кузнец по секрету передал, что сват со сватьей плачут и жалуются, что их дочь он бросил. Как видно, невеста написала родителям очень тревожное письмо, и они его просили передать дочери, что отец с матерью плачут, страшно беспокоятся и хотят, чтобы она тут же вернулась домой.

Розенблюма это сильно задело, хоть в душе он и был рад, что сватовству конец.

Давид-кузнец сделал свою работу очень добросовестно, так что помещица, если бы не стеснялась, его бы просто расцеловала. Но сотню она ему дала. Теперь она была очень и очень довольна.

После возвращения кузнеца в усадьбе поднялась большая суета. У каждого кипело сердце, но у Любовичевой оно кипело от радости, что она так блестяще выполнила свой план. Невеста теперь уедет домой и назад больше не вернётся. Слава Богу, всё кончено. Правда, что двадцать тысяч сват отдал в рост. Но пусть он ими подавится – лишь бы больше не видеть его дочери.

Но Роземлюму таки было жаль денег, и он уже начал обдумывать, как вызволить двадцать тысяч. Половину суммы справедливо отдать невесте. Он ей действительно причинил страдание. Он ведь был её женихом. А сейчас отказывается от сватовства. За такое дело невесте платят деньги. Но как вытащить остальное?

Как обычно, он побежал за советом к помещице. Вечером, за чаем, он ей, как человеку, который совсем не в курсе дела, рассказал, что хочет порвать со своей невестой, что это для него решённое дело.

«Хорошо ещё, что мне удалось вовремя осмотреться и исправить то, что я напортил. Сватовство я отменю. Как видно из рассказа Давида, мне это будет не трудно. Но как быть с такой большой суммой денег? Просто беда. Дать так много денег без гарантии. Большая досада. Как получить хотя бы половину? Половина пропала. Ладно. Но остальное?

Любовичева почувствовала, что может высказаться. И она высказалась. Глаза её горели.

«Ты знаешь, - не могла она сдержать своей радости, - считай удачей, что ты не влип с такой женой. Ты бы долго не прожил с этой распущенной шлимазлницей, лежащей целыми днями и ночами в кровати, для которой деньги – как грязь, хуже того – большой эгоисткой, не думающей ни о ком, кроме себя. Никто ей не дорог – ни отец, ни мать, ни жених и ни муж. Ты бы от неё наверное получил удар. Твоё счастье, что ты спасся от такой

беды».

А в отношении денег она ему сказала, что не надо грызть себе сердце – ничего: Бог пошлёт ещё.

«Ты, однако, слабак – сделала она осторожно следующий шаг, - и сам конечно не сможешь от неё освободиться. Найти бы умного человека, хорошего друга, чтобы переговорил с А.Г. или написал письмо".

Как заведённый автомат, кузнец опять поговорил с невестой. Прежде всего, дал ей понять, что он её лучший друг, что он её хочет спасти, и что как примерной еврейской девушке ей здесь не место. Здесь только гои, гои и гои. Роземблюм с помещицей – пара, а не с ней. Для Роземблюма ноготь Любовичевой дороже всей невесты. И кто знает – что ещё может с ней случиться, так что нельзя быть уверенной и в её безопасности. Одним словом, ей надо хорошо взвесить – выходить ли за него замуж. Так как есть только два выбора: или же он, Розенблюм, должен Любовичеву совсем прогнать со двора, чтобы она больше здесь не появлялась, или – чтобы Розенблюм стал жить после свадьбы в Гродно. Можно даже передать поместье помещице и снять где-то другое; в деньгах у Розенблюма нет недостатка. Если только захочет, он всё может достать. Но неизвестно, поможет ли это – у них ведь старая любовь.

Невеста в голос расплакалась, со спазмами и со всем, что сопровождает женский плач. Давид поднял шум, примчались слуги и прислуги, послали за Розенблюмом. Он тут же прибежал, и её спасли. На Розенблюма, совсем не плохого человека, всё это произвело тяжёлое впечатление. Придя в себя, невеста сказала, что едет домой.

Розенблюм наутро велел подать карету и поехал с невестой в Гродно к её родителям. Расцеловаться с Любовичевой перед отъездом невеста не захотела. В один момент все карты были раскрыты – больше скрывать помещице было нечего.

Приехав в Гродно, невеста тут же слегла в постель, заявив, что нездорова, но никаких докторов к себе не подпустила. Родители поняли, что девушка больна от горя. Розенблюм был подавлен: с ним совсем не разговаривали, возле невесты он сидел мало, и между собой они мало находили, о чём говорить – и только молчали.

Немного поправившись, красивая и гордая девушка попросила Розенблюма уехать. Того же хотели и родители, почти открыто это показывая. Это ему было не очень приятно. Он понял, что здесь от него хотят избавиться, и хотя он и сам этого желал, но всё-таки ему это было трудно пережить. И он уехал.

Это случилось за несколько дней до моего приезда в

Макаровцы. Как уже говорилось, им нужен был человек, чтобы написать письмо в Гродно свату под чужим именем. Они меня выбрали для такой роли и составили для меня письмо. Я его живо настрочил, частично под диктовку Розенблюма, оно было принято и отправлено в Гродно вместе с «условиями».

В письме сообщалось, что десять тысяч рублей он даёт невесте, а десять будет справедливо ему вернуть. Понятно, что денег никто больше не увидел. Только мне было суждено иметь от них пользу – «моё» письмо произвело хорошее впечатление и укрепило мою позицию.

Я получил дело - молочную ферму. Любовичева мне предоставила молоко по пяти копеек за горшок. Масло тогда стоило семь-восемь рублей за пуд. Принадлежащую одному еврею корчму в большом доме с подъездом, рядом с поместьем и с польским монастырём, на тракте между Кринками и Гродно, я также получил, с тем, чтобы заплатил, сколько могу.

Я заявил, что не хочу перебивать у еврея дело, даже если придётся сидеть без хлеба. На что дядя ответил, что попробует поговорить с арендатором, не возьмёт ли тот отступное, поскольку слышали, что он собирается купить собственную корчму в местечке Орля, в четырёх верстах от Макаровцев, может, он возьмёт пару сотен рублей и с миром отбудет?

Дядя его позвал. Арендатор заявил, что действительно собирается купить Орлянскую корчму за шестьсот рублей, и если ему столько дадут, он эту корчму с большим удовольствием уступит.

Так и произошло. Дали еврею пятьсот рублей, и он перед Новым годом освободил корчму.

Глава 7

Молочная ферма с корчмой. – Приезд жены. – Дело идёт. – Кринки. – Криникские воры. – «Братья». – Реб Довид Марейна. – Моё письмо. – Гибянский. – Мои поездки в Гродно. – Хайче Гурвич. – Хайче и губернатор. – Разговоры в её «салоне». – Император Александр П. – Его визит в Гродно.

Получив корчму в аренду, я написал жене, чтобы она приехала со всеми своими вещами в Макаровцы, что у нас тут есть «хорошее дело». Она выехала, я поехал навстречу и привёз в Макаровцы жену с двумя детьми.

Корма находилась в хорошем месте – прямо против неё, как я писал, стоял польский монастырь; кругом жило много шляхты, крестьян – хозяев, которые не пили простой водки, а за водку высшего качества могли платить гораздо больше, чем за простую.

Но корчма была запущенной, бестолковой. Арендатор был очень простым человеком и не знал, как содержать корчму для шляхты, требовавшей лучшие напитки и деликатного обращения.

Взяв корчму, я был очень доволен. Стал вводить много хорошего и привлёк много шляхты. По воскресеньям полно было во всех комнатах, просторных, как поле.

Из Гродно я привёз сладкие вина, а из Кринков – мёд и вино – собственноручно приготовленные вдовой Йохевед и известные во всей губернии. Она брала по пятьдесят копеек за горшок, – и я продавал с большой выгодой.

Розенблюм мне дал хорошую лошадь с телегой, и я – молодой ещё человек – с большим удовольствием ездил, куда мне было надо.

Приехав в первый раз в Кринки, я остановился у шинкарки Йохевед. Был прекрасный день. Привязав лошадь к перилам перед окнами большого дома, против магазинов на рынке, я вошёл в дом. Глянув через минуту из окна на лошадь, я увидел, что она стоит с передней парой колёс отдельно, а повозка с задними колёсами завернулась на сторону. Как видно, вытащили шкворень[13]. Я выбежал на улицу, спрашивая, куда делся шкворень от повозки. Ведь это же довольно странно. Сыновья Йохевед меня «успокоили», дав понять, что это обычная вещь.

История такая: были в Кринках два брата, заправлявшие всем воровством в округе. Их так и называли «братья», и всем торговцам, деревенским жителям, землевладельцам, посредникам и арендаторам неизбежно приходилось с ними сталкиваться и их

ублажать: ведь они ещё требовали к себе уважения, и приехав в уезд, везде встречались с большим почётом. С ними приходилось знаться, поскольку это защищало от воров.

В случае, если кража всё же случалась, следовало обращаться к братьям, и украденное возвращали; а так как я был новеньким ешувником, то мне намекнули, что с ними надо познакомиться, что знакомство произойдёт на пирушке. Я был напуган, поражён: это что же такое – знакомиться с ворами, глядеть на их физиономии, да ещё подавать им руку. Но я знал, что сыновья Йохевед - люди умные и благородные и не будут мне зря крутить голову.

Однако знакомиться со знатными ворами мне показалось затруднительным делом, и купив новый шкворень, я спокойно отправился домой, избежав знакомства.

Я рассказал об этом Розенблюму, и он подтвердил, что все ежегодно платят «братьям» и устраивают для них пирушки; но его они боятся, поскольку всё начальство – его хорошие знакомые. Но особенно с ними воевать не стоит. Исправник с асессором тоже не могут совсем от них уберечься. Поэтому, поскольку я живу в корчме, у самого тракта, придётся мне с ними жить мирно, а в случае, если они завалятся ко мне в корчму, должен их хорошо принять, дать им и их лошадям еды и питья и т.п.

В Кринках я брал водку у реб Довида Марейны, зятя гаона реб Изроеля Салантера. Марейна держал в Кринках усадьбу с винокуренным заводом, был евреем богатым - тысяч на восемьдесят - а также учёным и умным, но не дай Бог, каким злым, а также и очень гордым – стоило кому-то – как ему казалось - задеть его гордость, как он тут же на него набрасывался со страшными оскорблениями.

Было у него, однако, одно хорошее свойство: он был отходчив и просил у обиженного прощенья, каким бы тот ни был ничтожеством. Регулярно случалось, что реб Довид после очередной вспышки тут же остывал. И чувствуя, что обидел человека, он уже его ни за что не отпускал, пока тот не скажет, что ему простил и с ним не расцелуется.

У Марейны в конторе всегда было много народу – все криникские шинкари и ешувники из самых отдалённых деревень. В двух верстах от Кринков находился ещё больший винокуренный завод, также принадлежавший евреям. Но там всем заправляла еврейка по имени Ента – прекрасная хозяйка, очень красивая и умная женщина, при которой муж был пятым колесом в телеге. Никто его не знал, и завод действовал под её именем. Иные даже не знали, что у неё был муж. Был он совсем неплохим человеком – учёный, знающий, но она была такой сильной еврейкой –

«еврейской хозяйкой» – что если он даже сидел в конторе, никто с ним о деле не говорил.

Она держала несколько поместий и два завода – и всем заправляла сама. Но водку свою ей приходилось продавать оптом и в отдалённые местности, а не отдельным шинкарям и арендаторам окружающих деревень, поскольку все они предпочитали иметь дело с реб Довидом Марейной из-за его большой честности, из-за его слова, которое было твёрдым, как железо. Продавал ли он или покупал, дорожало ли или дешевело - он никогда это не принимал в расчёт.

Правду сказать, на него иногда обижались из-за его злого языка, из-за спешки, из-за сердитой суеты. Извинения его также не всегда снимали обиду с сердца. Но его честность, честность! - Вот, что всех привлекало; даже задолжавшие ему и не желавшие ему платить шинкари, приходившие покупать водку у Енты, вынуждены были к нему вернуться, заплатить, что положено, и дальше с ним торговать. К такому торговцу тянутся, как магнитом.

Конечно, я тоже брал водку у Марейны. Брал бочку водки в десять-пятнадцать вёдер и ехал обратно. Марейна меня совсем не знал и даже не имел времени со мной поговорить. Приходит молодой человек за водкой –и ладно.

Помню, Розенблюм меня как-то попросил передать Марейне, что тот ему вредит тем, что не забирает проданный ему картофель, который Розенблюму не было, где хранить. Приехав за водкой, я передал Марейне слова Розенблюма. Но вместо ответа, реб Довид на меня с минуту смотрел и вдруг набросился не дай Бог с какими оскорблениями. В комнате было полно народу. Мне было стыдно поднять глаза.

Когда я ушёл, его зять ему сказал, что я тут не при чём, и что оскорбления совсем неуместны. Просто обидел напрасно постороннего молодого человека. Я сразу уехал, и реб Довид уже не смог меня вернуть, чтобы, как он это обычно делал, попросить прощения.

Поскольку водку я не получил, то поехал к Енте и взял, что мне было надо. Но водка её была хуже. И на душе у меня тоже было не очень хорошо. Случай с Марейной меня очень огорчил. Кстати, я собирался купить пятьсот вёдер зараз, что обошлось бы мне дешевле, и такую покупку я мог сделать только у Марейны.

Я не хотел рассказывать Розенблюму, что меня обидел реб Довид Морейна –не подобало распускать слухи. Я всё время думал, как поступить и очень досадовал.

В городе, когда я разговаривал с людьми о Марейне, мне все в один голос говорили, что от реб Довида можно и пострадать, и

только потому, что с ним хорошо торговать. Ещё мне передали, что тот случай его огорчил, что он себе душу гложет за то, что меня обидел, и сказал, что готов дать четвертак тому, кто меня к нему приведёт, чтобы передо мной извиниться и помириться.

Я подумал и написал письмо по-древнееврейски (моё тогдашне оружие), рассчитав, что по дороге за водкой к Енте проеду мимо криникской усадьбы и с кем-нибудь его передам.

Еду я как-то мимо усадьбы, и вижу – как раз стоит реб Довид с ещё несколькими евреями у ворот, на дороге. Вздумалось мне передать ему лично в руки моё письмо. Показал на расстоянии, сидя в телеге, письмо. Он подбежал, взял, стоя у моей телеги, письмо, открыл и стал читать. Уже начало письма так ему понравилось, что он меня принялся целовать и просить со слезами, чтобы я его простил: ведь он меня тогда не знал, был раздражён, огорчён и т.п. Я ему сказал, что простил его, и не успел оглянуться, как он уже тянет лошадь к себе в ворота. Я говорю:

«Реб Довид, я уже сам к вам заеду». Он отвечает:

«Нет, я должен вам выразить уважение – сам тянуть лошадь за поводья до конторы, чтобы все видели, как я прошу у вас прощенья».

По выходе моём из коляски, реб Довид взял меня под руку и провёл в контору. Там было полно народу, и он громким голосом объявил:

«Господа, перед всем народом я прошу этого молодого человека меня простить и заявляю вам, господа, что был очень не прав, обидев его шесть недель назад».

Ред Довид приказал принести бутылку старого, пятнадцатилетней давности вина с печеньем и пирог с селёдкой для всех присутствующих, и тут же, провозгласив «ле-хаим», меня расцеловал. В коляске для меня уже была приготовлена бочка водки. Уезжая, я был воодушевлён таким отношением реб Довида и забыл все обиды.

Так себя вёл когда-то богач, обладатель каких-нибудь восьмидесяти тысяч рублей.

С тех пор реб Морейна в меня «влюбился». Действительно, между нами было нечто вроде любви. Каждую неделю мы должны были видеться. И за жизнь свою я немало провёл хороших часов у реб Довида.

Возле Кринков я нашёл ещё одного дорогого друга, будущего гебраиста и писателя, Иосифа Гибянского[14], молодого человека моих лет, может, немного моложе. Был он зятем деревенского мельника, который ему дал пятьсот рублей приданого и пять лет содержания.

Гибянский стал женихом в пятнадцать лет. Тесть его раньше жил в Кринках, привёз жениха к себе на Песах. Гибянский прочёл проповедь в криникском шуле и отличился со своей проповедью не как юноша пятнадцати лет, а как еврей пятидесяти. Женился он в шестнадцать лет. Вскоре после этого тесть его арендовал водяную мельницу в деревне и переехал туда жить, взяв с собой на хлеба молодую пару.

Гибянский был известен как хороший гебраист, красиво пишущий на святом языке. За год до моего появления в Макаровцах реб Исроэль Салантер, приехав на отдых к своему зятю, реб Довиду Марейне, провёл у него в криникской усадьбе всё лето. Криникская учёная молодёжь – и Гибянский среди них - являлась на каждый обед к столу. Гибянский в то время писал в "Ха-Магид", который реб Исроэль Салантер читал за столом. Еврейский мир кипел от слов реб Исроэля.

С Гибянским я очень подружился и навещал его в деревне, а он меня – в усадьбе.

По правде говоря, я совсем не был расположен к торговле, как другие, кто стремился побольше заработать, иметь побольше дохода, выгоды, при этом льстить, хватать, надрываться, и т. п. вещи. Вообще-то корчма моя была очень хорошей, и с помощью лести я многого бы мог у Розенблюма добиться. Но я даже не старался приблизиться к нему и к помещице, чтобы им понравиться. Голова моя и душа стремились только к тому, чтобы найти способных, хороших, развитых людей, чтоб с ними общаться, проводя время в рассуждениях и спорах. В этом для меня было удовольствие.

Мне как-то не доставало жажды иметь как можно больше денег, когда человек не может без них жить, а имея их – получает всё. Обычно я довольствовался тем, что есть. Возможно, это большой недостаток, а возможно – большое достоинство. Возможно, что полагаясь только на деньги, я бы не имел ничего. Было много таких, кто предавался делу обогащения с большим рвеньем, но ничего не добивался. Кто знает, кто может сказать!

Реб Довид имел способного сына, я с ним тоже очень подружился и мы часто проводил время в мечтах и беседах. Я крепко взялся за чтение книг по Хаскале, для чего лишний раз ездил в Гродно, якобы для продажи масла и покупки сладкой водки, в действительности в расчёте купить там свежие книги по Хаскале или - если нельзя будет купить - почитать их. Ради одного дела не было нужды ездить так часто - можно было уезжать каждый раз на дольше.

Часто бывая в Гродно и имея там родню, я познакомился с некоей Хайче Гурвич, очень интересной женщиной, о которой

стоит рассказать подробнее.

Прежде всего, она была сильной женщиной и в Гродно, на улице Скидлер, на её доме была табличка с надписью: «Дом Хайче Гурвич» - с фамилией её отца, а не мужа. На ней держался весь дом. Я его нашёл, явился и ей представился. Мы были не близкой, но всё же роднёй. Встретила она меня очень приветливо и, должен признаться, произвела на меня сильное впечатление.

В доме у неё часто бывали люди разных классов и возрастов. Молодые, зрелые и старые, купцы, подрядчики, адвокаты, доктора и просто умные люди. К ней приходили за советами насчёт торговли, семейных вопросов – насчёт всего. Собираясь явиться на суд, у неё спрашивали, как вести процесс, и она уже учила – как говорить и как себя вести. Самой ей также приходилось обращаться в учреждения. С ней даже юристы советовались в сложных случаях или о том, как написать хороший контракт между двумя компаньонами. Была она на редкость мудра – с трезвым умом и с чувством юмора, способная на хорошую шутку.

Она зарабатывала на призывах и на судебных делах – по четыре, пять тысяч рублей в год. Особенно большой она была филантропкой – например, ходила к полицмейстеру, к исправнику, к губернатору. Стремилась делать евреям добро и почти всегда добивалась своего. Одному совсем поможет в беде, другому – немножко, но с пустыми руками никого не отпустит. Хоть в чём-то старалась помочь.

Для неё «пойти к губернатору» было из лёгких дел, также и губернатор получал удовольствие от разговора с ней. Её острые шутки кололи его прямо под седьмоё ребро. И нельзя было не смеяться – этим блестящим, умным уколам.

Муж её тоже был вполне достойным, а также и учёным человеком, но неспособным от страха рта раскрыть в её обществе. Он просто боялся что-то сказать. Страх этот чувствовал не только один её муж, но и все, кто бывал в её доме - такими были острыми её ум и язык. А быть осмеянным женщиной – не слишком приятная вещь.

В первый раз я провёл у неё в гостях несколько часов. Ни с кем из присутствующих я знаком не был. Я присмотрелся к Хайче и её гостям, послушал её мудрые речи, оценил то, как она держится, как себя ведёт, и решил сидеть и молчать. Говорить должна она – поскольку очень умна.

Она меня познакомила с гостями и задержала подольше – до ухода остальных. Как видно хотела разобраться – что я за товар. Потом пригласила меня на обед. После обеда вышла со мной погулять. По дороге попросила рассказать о моих делах – где, так сказать, моё место в мире. К тому же – оказалась очень тёплой

роднёй, интересуясь всеми подробностями. К примеру: еду я по делам в Гродно, привёз на продажу масло и сыр и закупил водку и другой товар. И в этом она может мне быть полезной, обо всём вместо меня позаботиться. Приехав, пусть я лучше хорошо проведу время, а дела мои уже будут улажены. Ей это ничего стоит: у неё повсюду адьютанты, которые тут же обо мне позаботятся.

Оказалось это не пустой болтовнёй, как я позже убедился. И понял, что до этого меня при продаже масла и покупке водки надували. Мне это ясно объяснила та же Хайче, найдя мне потом самых солидных торговцев маслом, которые бы меня не надували. За масло я взял более высокую цену, а водку она купила мне в другой дистиллярне, намного дешевле и лучшего качества. Одним словом, мне с ней повезло.

Дела мои она улаживала за один день, а оставшиеся два дня я большей частью проводил у неё в доме, в лучшем гродненском обществе. И таких поездок в Гродно я делал восемь в год. И каждая была – истинным наслаждением.

Император Александр Второй каждый год приезжал в Гродно на смотр. Гродненская площадь привлекала его своей величиной и красивым расположением на ней войска. Обычно летом со всего уезда съезжались деревенские жители, помещики и евреи, увидеть императора во время смотра и весь парад, который для него устраивали в Гродно. Я тоже приезжал ежегодно в Гродно в это время.

Император проводил в Гродно до полутора суток. В это время у Хайче никого не было. Каждый был занят парадом и императором. Но я к ней приходил и в это шумное время. Хайче тогда выходила редко на улицу: там была толкотня, а она это не терпела.

«Стоят, вытаращив глаза и смотрят», - морщилась она.

Однажды я стоял рядом с сидевшим на лошади императором в момент, когда мимо проходили войска. Прямо-таки стоял рядом с его лошадью и смотрел ему прямо в лицо. Смотреть хотелось пристально, внимательно и долго. Император был радостно оживлён, приятно было видеть его сильное тело; и когда он проезжал, я к нему совсем прибился - так хотелось к нему поближе находиться.

Помню, как однажды царь приехал в Гродно в половине второго ночи, а в семь утра уже отправился на смотр. В пять я вышел на улицу, по которой он должен был проехать. Император проехал в закрытой карете вместе с виленским губернатором Потаповым. Стоявшая там большая толпа стала кричать:

«Хотим тебя видеть, царь!» Генерал-губернатор открыл дверь

кареты и объявил толпе:

«Император всю ночь не спал. Он хочет отдохнуть». Толпа, однако, его не слушала и продолжала кричать:

«Хотим тебя видеть, царь!» Тут уж сам царь открыл дверцу кареты и сказал:

«Господа, я не спал всю ночь. Дайте мне передохнуть. Со смотра я поеду медленно в открытой карете, и вы меня увидите».

Так и случилось: назад он ехал в открытой карете, медленным шагом, и все его видели. Я стоял у костёла, где царь потом поднялся на балкон, украшенный коврами и цветами. Рядом стоял польский декан, и царь, протянув ему руку, просил извинить, что не имеет времени посетить костёл. Он тут же сел в карету и таким же образом, шагом, проехал через весь город, до губернаторского дома. Готовились к посещению им русской церкви и синагоги, но кроме как на балконе костёла, он нигде не был. Поляки радовались хотя бы этому. Впечатление он всегда оставлял хорошее и сильное.

Александра Второго видел я несколько раз, и каждый раз, стоя возле него, я испытывал духовное наслаждение. К окружающей его публике он всегда относился добродушно. Был он высокий, широкий в плечах и красивый. У Николая, говорят, был очень сердитый взгляд. Дед Арон-Лейзер рассказывал, что раз был в Бриске, когда через него проезжал Николай. Собралась большая толпа. Все хотели увидеть царя, в том числе и дед.

Показался царь. Он стоял недалеко от деда, и взгляды их, деда и царя, встретились.

«От этого взгляда мне стало страшно, - поёжился дед, - я его навсегда запомнил».

Приезд Александра Второго в Гродно был для евреев всегда праздником. Все мы радовались, и в день, когда он должен был появиться на улице, все бросали работу и гуляли весёлыми кампаниями по городу.

Глава 8

Разговор с Хайче о женской природе, об их обмороках и судорогах. – Макаровцы. – Русский и польский священники. – Наши беседы. – Чья религия выше? – Окружающие ешувники. – Грозные дни. – Ешувники берут зятька. – Покупка места в шуле.

Я рассказал Хайче, как жене моей однажды стало дурно при виде того, как я взял в субботу у христианина монету в сорок грошей голой рукой, а не через тряпочку, как делают все евреи в деревнях и местечках. В больших городах себя при этом ведут по-другому. Во всех ресторанах и пивных имеются железные и медные пластинки с нацарапанным именем хозяина, и все варшавские евреи, не способные обойтись в субботу без пива, покупают в четверг эти пластинки, которыми платят в субботу за пиво и вино. Понятно, что все евреи, торгующие спиртным, работали в субботу, как каторжные. Шутка ли – сколько выпивалось в субботу в Варшаве пива!

Лично я был против таких уступок, которые позволяли себе евреи. Известно, что запрет евреям прикасаться к деньгам – т.наз. «мукце» - существует ради духовности. Ведь без денег – никуда не двинуться, не купить и не продать. А тут – берёт еврей и делает себе из того же металла – меди или даже железа – своего рода кошерные деньги – и уже может всю субботу работать, как лошадь. Выходит – если твое имя нацарапано – то можно, а если царское – то нельзя.

Я об этом рассказал Хайче. Она мне ответила так:

«Милый юноша! Не верьте женщинам с их обмороками. Я расскажу вам, как я сама когда-то регулярно падала в обморок. Чуть что – обморок. Стоит только не получить, чего мне хочется – падаю в обморок».

Глянула с усмешкой и продолжала:

«Выросла я, милый юноша, без отца. К шестнадцати годам была очень красивой девушкой, считалась также и умной. Писала я тогда на древнееврейском и на русском, в то время, как еврейские девушки не способны были нацарапать ни одной буквы. Сидеть в девушках после шестнадцати лет было не принято, и я вышла замуж и приехала в небольшое местечко к свёкру, богатому еврею с пятидесятитысячным капиталом. Его единственный сын стал моим мужем. Свёкор хотел взять для своего сына жену из хорошей семьи, со всеми достоинствами, даже и без денег. И я оказалась подходящей партией. Приданого

за мной дали всего триста рублей. Отец мой долго болел, пока не обеднел. Оставалось ещё после отца несколько тысяч рублей и много серебра, но у меня было ещё две сестры и брат, и маме ещё тоже было нужно, и когда заключили шидух, на который не потребовалось денег, я из своего приданого, состоявшего из тысячи рублей, взяла только триста, а остальное отдала сёстрам.

Когда я приехала в местечко на хлеба к свёкру, у меня потемнело в глазах. У свёкра был большой многоквартирный дом, но повсюду стояли простые деревянные белые скамейки и столы, ели из эмалированных мисок, грубых тарелок, железными ложками. Ели как раз хорошо, ни в чём недостатка не было, но всё по-простому. Так было в еде, так и во всём поведении. Чай пили из горшка, а что до самого чая – его в рот нельзя было взять.

Городской раввин был другом свёкра. Посетил нас в субботу во время «семи благословений»[15]. Я ему, видно, понравилась, и на следующую субботу он нас с мужем пригласил. Понравившись раввину, а потом и раввинше, я уже понравилась и всему местечку, и стала держаться с достоинством, гордо.

Я дала понять, что мне бы хотелось, чтобы постепенно у нас ели бы серебряными ложками, из красивых фаянсовых тарелок, вместо простых скамей были бы канапе и стулья – так, как у нас дома.

Хоть отец мой и обеднел, но ели у нас серебряными ложками. Я считала, что в доме моего свёкра, богатого еврея, должно быть ещё богаче. Я так любила дорогую мебель, красивые столовые приборы, зеркала на стенах, длинные мягкие дорожки под ногами. Но что поделаешь? Попросить свёкра украсить квартиру – невозможно. Старый уже еврей – кто может его переделать? Только раз я сказала ему, что не могу выдержать жить в такой грубой обстановке.

«Вы ведь богаты, так и живите, как богач. Я не могу есть из таких тарелок, такими ложками, не могу сидеть на жёстких простых скамьях. Я привыкла сидеть на мягких стульях и на канапе, как у моего отца».

Свёкор ответил, что может дать мне в подарок, например, тысячу рублей, но изменить своё поведение – свойственное и его предкам, он не может. Как мы любим мебель моего отца, так и ему нравятся его простые столы и скамьи.

Тут-то я прибегла к своему женскому оружию – упала в обморок. В доме поднялся шум, все смертельно испугались. В таком небольшом местечке все тут же сбежались мне на помощь. После того, как меня привели в чувство, свёкор спросил:

«Ну, скажи же мне, дочка, что ты хочешь, чтобы я тебе купил?»

Я тут же ожила и ответила:

«Дайте мне триста рублей, я поеду в Гродно, куплю мебель, столовые приборы и т.п. домашние вещи».

Но ничего не помогало – он не соглашался.

Так прошли ещё полгода. Свёкор и муж меня любили, но своего добиться у них мне не удавалось. Я снова стала падать в обморок.

И тут свёкор сдался – я своими обмороками добилась всего, чего хотела.

Но тут должна была быть мера, и я в своём торжестве об этом забыла. Помню, однажды мне стало плохо, и муж меня привёл в чувство. И я слышу, как он при этом говорит:

«Хайче, Хайче, придёт момент, что тебе станет плохо, а я тебя не приведу в чувство».

А, а! – тут я действительно испугалась. Если так, но не стоит. Я тут же встала и сказала:

«Я здорова… Больше тебе не придётся меня оживлять».

Теперь Хайче смеялась над мужчинами, которых женщины водят за нос и добиваются у них всего на свете притворными обмороками. Мужчин она называла тряпками.

Мужчины, сидевшие у меня в комнате, смеялись, слушая мои рассказы жене об обмороках Хайче, и судя по её реакции, было похоже, что и она тоже прекратила этим заниматься.

Жилось мне тогда неплохо, зарабатывал я достаточно. Долгими зимними вечерами читал философские книги, к которым всегда имел большое влечение и на которые тратил много времени.

Жена моя желала бы, чтобы я больше крутился возле Розенблюма, от чего имел бы больше пользы. Но мне этого не хотелось. Не в моём характере было льстить. И мало ли что говорит женщина. Женщины бы весь мир проглотили. Одна хорошая книга была мне дороже всех розенблюмов со всеми их деньгами.

Каждый год я откладывал несколько сот рублей, и так себе продолжалась жизнь. Изредка я беседовал со своим соседом, польским ксёндзом, очень учёным и благочестивым христианином. Но много говорить он не любил.

Русский священник наоборот - был слишком прост: мало знал, но при этом имел больше сердца, и мы хорошо с ним ладили.

Он был высокий, толстый, здоровый и добродушный. Заезжал на тройке лошадей и сидел по несколько часов. Благочестия в нём было немного, и до небольших проступков он был большой охотник.

Польский ксёндз, со своей стороны, стращал меня, что не видать мне рая:

«Учти, Хацкель, что евреев в рай не пускают. Евреев там мучают», - показывал он пальцем на небо.

«А ты почему уверен, что тебя в будущем мире любят?» – Спрашивал я его.

Так мы с ним препирались. Помню, как однажды он мне доказывал, что по части чудес Христос выше нашего Моше. Моше такого не мог делать, чтобы, как при посещении города Христом, встали все мертвецы на кладбище, похороненные сотни лет назад, и вышли бы ему навстречу[16]. Этого Моше не мог. Я ему на это ответил то, что учитель наш Саадия-гаон[17] сказал где-то по другому проводу:

Когда, рассказывают, что кто-то выпил бочку воды в десять вёдер, а кто-то – целый колодец воды, третий – выпил целую реку, а четвёртый – море-океан, то спрашивается: кто здесь проявил больше чуда, и ответ должен быть, что все одинаково, потому что, если человек, который не в состоянии выпить больше стакана воды, выпил десять вёдер, это такое же чудо, как и выпить целое море-океан; ибо как невозможно выпить море, так же невозможно выпить и десять вёдер.

А разделить море может человек? А получить воду из скалы может человек? А накормить манной шестьдесят множеств евреев в пустыне может человек? И то и другое никто совершить не может.

Понятно, что мы не могли один другого победить. И как-то он спросил меня:

«Как вы можете говорить в своих молитвах: «Ты нас избрал из всех народов, любил нас и востребовал нас и возвысил нас над всеми языками" и т.п. – и как можете вы приписывать Господу такую мерзкую ложь? Вас убивают, режут, жгут, бесчестят, рвут на части и топчут ногами, а вы потом приходите к Богу с такой грубой ложью? Да это же бесстыдство!"

«Панич, - ответил я ему, - если бы это было не так, то для чего бы вашему Христу было родиться среди евреев? Это же знак, что Господь избрал евреев из всех народов!»

Это ему немножко поубавило куражу.

У соседей моих, ешувников, я считался за благородного. Я, например, мог учиться, на что они в большинстве были неспособны. И когда приходил по субботам к миньяну в Бялу-Козу к мельнику, меня просили стоять у Свитка Торы и раздавать приглашения. Ешувники не знали, что со мной делать, какое дать занятие. И решили собирать миньян к молитве у меня дома. И получилось так, что молящихся с каждой субботой становилось

всё больше. И чем дальше, стало приходить отовсюду всё больше и больше ешувников.

Для общества у меня оказалось совсем особое достоинство: я подписался на «Ха-Мелиц»[18] и «Ха-Маггид»[19]. Это был источник новостей, в которых общество так нуждалось. Со временем мои ешувники стали большими «политиканами», жадно набрасываясь на газеты и делились друг с другом, как лакомым куском.

Розенблюм, со своей стороны, получал варшавскую ежедневную газету, и я, таким образом, мог им, со слов Розенблюма, дать ещё и устное дополнение к новостям и политике, так, что они могли в политике заткнуть за пояс Бисмарка. А что со мной было в семидесятом году, во время франко-прусской войны! Толклись, как в улье, все страшно озабоченные. Даже и среди недели приходили за новостями. Не шутка - еврейские новости!

За неделю до Рош-ха-Шана я уже стал собираться к отъезду с женой, детьми и со всем добром в Кринки. Благодаря субботе получалось три дня праздника. Розенблюм уезжал на Рош-ха-Шана и Йом-Киппур в Варшаву и распорядился приготовить для меня в поместье два больших фургона с парой лошадей каждый.

На Рош-ха-Шана ешувники приготовились ехать всем обществом в город, со столовыми приборами и с посудой. В деревне не осталось ни одного еврея. Ешувник мог быть болен, жена – на сносях, и всё равно ехали. Ехали с младенцами, с малыми детьми, с больными и слабыми. Собрать в деревне в тот период миньян никогда не удавалось. В Судный день каждый еврей должен был явиться в шуль.

По мере приближения Рош-ха-Шана мужчины ехали с жёнами в город за одеждой для себя и детей. Что касается взрослых, на выданье девушек - тут уж наряды готовились со всем шиком. Богатые ешувники привозили к себе портного с помощником и держали по месяцу. После этого являлись в город на Рош-ха-Шана и разгуливали в новых, шелестящих нарядах.

Горожане приближали к себе ешувников, их жалеля: бедняги живут целый год в деревне среди гоев, без бет-мидраша, без бани и без миквы.

Ешувники держались на Рош-ха-Шана широко, получая особое удовольствие от общения с городскими. Шидухим в большинстве заключались на Рош-ха-Шана. Обедневшие, разорившиеся горожане роднились с состоятельными ешувниками, всегда имевшими свой кусок хлеба. Пусть они жили просто, но хлеба хватало почти у всех; что говорить – жизнь у богатых ешувников очень хорошая.

В те времена ешувники брали обычно своим зятьям учителей. Они просили в городе своих родственников и хороших знакомых найти их дочерям жениха из числа учащихся бет-мидрашей, приезжавших по большей части учиться из других городов, как я уже описывал раньше. Их тогда хватали, как воду после замеса мацового теста. Настоящая ярмарка женихов бывала в период Грозных дней. Перед Рош-ха-Шана каждый ешувник выбирал себе учащегося - в зависимости от своего положения – сколько он может дать приданого – и в большинстве случаев на Рош-ха-Шана заключался договор с молодым человеком, родители которого жили в другом месте. Молодой человек с невестой не смели сказать друг с другом слова. Горящими, тайными взглядами обменивались издалека, и только сердце стучало, стучало, стучало.

После Рош-ха-Шана писал молодой холостяк родителям, что он понравился ешувнику, уважаемому хозяину или богачу, который его берёт в зятья. Тут же приходило от родителей согласие на шидух, и тут же писались «условия». Если родители паренька могли, то приезжали на подпись «условий», а нет – обходились без них.

У таких учащихся случалось, что были они не такими уж знатоками. Один приглянулся своим видом, другой – языком. И, явившись к тестю в посёлок на хлеба, такой "учащийся" получал со своей женой отдельную комнату и «учился», напевая красивые мелодии. Иной раз он совсем не заглядывал в книгу, а пел из Гемары наизусть, и тесть с тёщей получали удовольствие.

Ничто не могло сравниться с их радостью. Они глубоко верили, что благодаря учёному зятю они будут иметь вечный рай. Понятно, что случалось это, в основном, с бедными ешувниками.

Первый год молодчик проводил, не шевельнув пальцем. Кушал самое лучшее и самое вкусное и напевал из Гемары.

Проходило немножко времени, и зятёк заявлял, что ему нужно другую Гемару – эту он уже изучил. Тесть доставал у богатых ешувников Гемару - богатые ешувники почти все имели комплекты Талмуда – и тесть радовался. Вскорости зять опять говорил тестю, что он выучил и этот трактат и желает следующий. Тесть доставал с большой радостью новый трактат и, довольный больше прежнего, приносил зятю.

Молодые люди ходили по дому, гордо глядя на всех, - и надо признаться, что даже крестьяне, заходившие в корчму выпить водки, также имели почтение к этим молодым хозяйчикам.

«Учёные люди!...», - почтительно бормотали они.

Ешувники также охотно роднились с другими ешувниками, своими соседями, когда девочка и мальчик друг друга знали. Для

мальчика они даже держали меламедов. Девочку не учили совсем. Иной раз несколько ешувников брали вместе меламеда для мальчиков; учились у одного из ешувников. Этот ешувник меламеда кормил, а за остальных мальчиков меламед брал плату. Платили меламеду обычно тридцать, сорок рублей за срок. Пятьдесят рублей за срок – было уже огромной суммой.

Деревенские меламеды, однако, в большинстве учить не умели, и мальчики-ешувники выходили невеждами.

Богатые ешувники брали для своих зятьёв, действительно, больших знатоков. Деньгами всё можно доказать[20]. В николаевские времена вообще было мало ешувников, и приличные евреи, уж конечно, не хотели ими становиться. Они это считали чем-то недостойным. Евреи признавали только аренду постоялых дворов или усадеб.

После польского восстания, однако, когда многие евреи поселились в польских имениях и лесах, благородные, родовитые евреи стали арендовать постоялые дворы и усадьбы у помещиков-евреев. Тогда вся еврейская аристократия ринулась в деревни, и дочки ешувников разоделись с большим шиком. И сразу же исчезло или сильно уменьшилось дурное мнение о ешувниках как о невеждах, что осталось до нашего времени. Ешувники шестидесятых годов учили уже своих девочек, как мальчиков и держали выдающихся меламедов.

И как раз в это время я держал Макаровцы. Это уже был седьмой, восьмой год после польского восстания. Почти самые достойные, утончённые и богатые евреи селились в деревнях. В моё время ешувники уже были в большом почёте. Ездили в город на Рош-ха-Шана с большой помпой, а места их в шулях и бет-мидрашах были из самых лучших.

Перед Рош-ха-Шана я поехал покупать места. В кринковском шуле было весьма замечательное место - у самого арон-кодеш, где всегда и везде стоит раввин.

Я приобрёл место и почувствовал себя среди благородных, возвысился. Но большинство ешувников, как сказано, имели «достойные» места, и я не знаю, наслаждался ли я больше, чем они.

Соперничество из-за почёта было очень сильным.

Глава 9

Как жили прежде ешувники. – Пророчества Любовичевой. – Пан Доброжинский. – Анекдоты про пана Доброжинского. – Его пьянство. – Лошадка. – Генерал Кислявский. – Его оригинальное поведение. – Страсть к музыке. – Йосл Лидер. – Железный человек, но без сердца. – Его выходки. – Йосл Лидер и губернатор. – Рувен, беги!

В моё время ешувники и лесоторговцы жили широко. Городские жители чуть ли не жили за счёт ешувников, торговцы зерном и деревом всё покупали у евреев. Арендаторы жили как помещики. Их дети себя чувствовали, как дети помещиков. Родители им брали лучших меламедов. Живущие поблизости от больших городов, посылали детей в гимназии. В те времена для евреев открылись все учебные заведения. Кроме того, самыми большими эрудитами были зятья ешувников, и ихус, как сказано, переместился из города в деревню.

И когда наезжали в города на Рош-ха-Шана ешувники, на улицах появлялись шикарные брички с шикарной упряжью, и шикарные евреи в шикарной одежде. Привозили с собой столовое серебро с высокими серебряными подсвечниками, и каждый старался перед другим выделиться своими замашками, широкой жизнью, покупкой самых важных вызовов к Торе, самыми дорогими кушаньями, и от них взялась мода угощаться пирожками. Не жалели и сладких водок и вин.

Что касается меня, то Любовичева уже нашла многое, о чём говорить и что критиковать. Почему это - считала она - я ленюсь, не стремлюсь заработать, зачем читаю книжки, и т.д., и т.п.

«Не будет у него никогда ни гроша!» - говорила она и моей жене. Каждый грош надо откладывать, припрятывать. Копейка рубль бережёт. Рубль к рублю – будет два, и сто, и больше. А у меня всё утекает между пальцами. Не ценю денег, работать не хочу, ясно, что я – безнадёжный случай.

Корчму, как я уже говорил, я хорошо поставил. У меня были разные хорошие вина, водки и коньяки, дорогое пиво, и ко мне стекалась шляхта и крестьяне со всей округи. По воскресеньям и по всем нееврейским праздникам у меня в корчме было полно народу. Крестьяне у меня были в большом помещении, а шляхта – в других комнатах. Днём я тоже, конечно, тяжело работал – а не так, как говорила Любовичева, хотя и держал двух человек на раздаче, и во всём соблюдал большой порядок.

В обычные, будние дни посетителей было мало, и мне было нечего делать. И я просто наводил порядок и привёл корчму в образцовое состояние, на что прежние евреи никогда не обращали внимания. У меня было время на всё, и помещица попросту злилась, что у человека есть время.

Она меня продолжала критиковать. Говорила, что мне лучше бы подошло стать раввином или – не рядом будь помянут - ксёндзом в большом городе. Раввин и – не рядом будь помянут – ксёндз, были для неё люди, неспособные трудиться.

«Он может только философствовать. А ведь он всё-таки еврей и, к тому же, бедняк. Почему он не стремится к чему-то практичному? Нет, он никогда не станет человеком, никогда не добьётся никаких денег – а чего ты стоишь без денег?»

Обычно она это обсуждала с моей женой. Этим она повторяла ошибку, которую делал отец, считая, что жена из меня сделает хасида, стоит на неё только повлиять. Помещица тоже считала, что жена меня сделает скупым, пустоголовым, тяжко работающим и замотанным, стоит только ей это хорошо втолковать. И я бы тогда ходил в амбар и загребал бы граблями солому, как Розенблюм.

На жену мою Любовичева влияла сильно, но ничего хорошего из этого не вышло. Жена только через силу трудилась, что никому не было нужно.

Но я считал иначе: для чего надо перерабатываться, выбиваться из сил, если можно вполне хорошо жить и без такого нечеловеческого, тяжёлого труда?

Зачем превращаться в грубого мужика, портить себе жизнь? И как оказалось, я был прав. Но об этом дальше.

Помещик Доброжинский, сдавший своё имение в аренду Любовичевой, жил у неё в усадьбе, ел там и пил. У него ещё было, на что пить. Он ещё владел большим лесом в усадьбе Борки, Волковыского уезда. Он давал крестьянам из Макаровцев, бывшим своим крепостным, справку в Борковский лес к своему леснику с разрешением вывезти несколько возов дров. За это они покупали ему водку и распивали вместе с ним у меня в корчме. Понятно, что пан Доброжинский регулярно шатался пьяный. Выпивая, он целовался с крестьянами и крестьянками. Закусывать он любил сыром. И так он совсем опростился.

В душе он, однако, был очень благородным человеком, с хорошим характером и аристократического происхождения. Дед его был предводителем дворянства Виленского округа. Этот дед взобрался однажды в Бяле-Козе [?] на высокую гору, стоя на вершине которой можно видеть окружающие поля и деревни, и сказал, что всё, что глаз его видит, должно ему принадлежать.

Так и произошло. При таком состоянии и в те времена это было не трудно осуществить.

Трое детей, которых имел дед, были все распутниками и кутилами. Пока дед был молод, он их ещё держал в руках и не давал шарлатанствовать. Но в старости уже не мог сдержать, и они наделали больших долгов. И даже подделали отцовскую подпись, и много имений было продано с аукциона. Дед от горя и стыда заболел и умер. Трое братьев и сестра поделили владения и наличные - в общей сложности миллион двести тысяч рублей. На долю отца Доброжинского пришлось шесть имений: три возле Макаровцев, три – в Волковыском уезде, с большим лесом, и триста рублей наличных.

Братья отца прокутили все свои имения и деньги. Но сам отец был немного сдержаннее - качество, которого его сын, пан Доброжинский, не унаследовал: отцовскую собственность он промотал, имения продал, остались только усадьбы Макаровцы и Борки с лесом, золотая и серебряная утварь и украшения, которые он потом тоже продал.

Был он умным человеком. Деньги занимать ненавидел, только продавал подряд всё, что имел. Продаст, получит деньги и прокутит!

«Я тоже начал было делать долги, - рассказывал бывший помещик, - отец предвидел, что как только он умрёт, я пущу на ветер то немногое, что осталось... Дело было через два года поле моей женитьбы. Мать тоже умерла в тот год. Мне досталось в наследство два имения и двадцать тысяч рублей наличных. Тут я зажил по-настоящему! Я любил музыку, нанял оркестр из сорока чехов, чтобы играли мне в обед и вечером. Жил я в Борках. Я также любил лошадей, было у меня тридцать лошадей для выезда; музыкантов и лакеев - человек шестьдесят. И ещё я регулярно гулял, устраивал балы, приглашая к себе всех окрестных помещиков, пил и плясал...

Хоть деньги занимать я избегал, но если было нужно – я не считался. В первое время чувствовал уверенность... Не жалел никакого процента, и доставал, сколько хотел, денег в долг, и так кутил года три. Но позже кредиторы вознамерились продавать с аукциона мои усадьбы. Я достал у Любовичевой приличную сумму и договорился с самыми сильными из моих кредиторов на сорок процентов. Но много я не заплатил.

Жена моя видела, что дела мои плохи, что я пропал и никогда не выберусь, и ушла от меня с двумя детьми. Поселилась в своём имении, которое дал ей в приданое отец, и теперь, дорой брат, я валяюсь, пьяный».

Да, у него была ещё тридцатирублёвая лошадёнка,

маленькая, бедная, на которой он иногда ездил верхом.

Так он мне одним зимним вечером рассказывал и за свой рассказ просил гонорар: бутылку водки... Я ему дал, и он её тут же опорожнил. Он опьянел, а в пьяном виде он целовался, с кем попало: крестьянами, крестьянками – со всеми подряд. Мне он в этот момент сказал, что ужасно меня любит, и полез целоваться, но, будучи очень здоровым, он меня чуть не задушил, так что я не мог ни вздохнуть, ни вырваться от него, хоть тоже был не слабым парнем. Он так прижался губами на несколько минут к моему сердцу, что мне стало дурно.

К счастью, пришёл сторож Давид. Он сразу увидел, что я совсем без сил и оторвал меня от него в бессознательном состоянии. Поднял крик, прибежали люди и меня выручили. Задержался бы сторож на пару минут, я бы точно умер от любви Доброжинского. Тут он сам увидел, что натворил. Он уже немного протрезвел. Упал на колени, стал целовать мне ноги, плакать пьяными слезами и уверять, что всё это – от большой ко мне любви.

Так прожил Доброжинский при мне целый год. Продолжал пить водку, а когда как следует напивался, садился на маленькую тридцатирублёвую лошадку и уезжал. Был он очень хорошим ездоком и мог держаться на лошадке пьяным. Всё же однажды свалился. Но ушибся не сильно, так как лошадка была маленькой, а всадник – большой, так что ноги его почти доставали до земли.

Так он ездил в Кринки. Целью его поездки были Кринки. В воскресенье он объезжал местечко, магазины, а за ним – все крестьяне и евреи, но никто ему не причинял зла, не делал ничего дурного, потому что все его, на самом деле, любили.

В воскресенье он радовал своим появлением базар. Иногда заезжал со своей лошадкой прямо в дом к асессору, прижав голову к шее лошадки. Протиснувшись с лошадкой в дом, смеялся, хватаясь за живот - доказал свою удаль. Потом вдруг исчез, и я до сих пор не знаю, куда девался. Умер, наверное, где-то в полном одиночестве.

Благодаря Розенблюму я также познакомился со всеми окружающими помещиками. По правде говоря, я мог бы с ними делать дела, но я об этом совсем не думал. Только - о философских книгах, книжках и спорах с несколькими добрыми друзьями. Заработка вдоволь, чего не хватает?

Помню, был один генерал – Кислявский, который жил в Уснаже, в четырёх верстах от Макаровцев. Именье Либавич вместе с ещё большим фольварком он купил сразу после польского восстания за 700 рублей. Именье сдал в аренду еврею за три тысячи рублей в год, а сам жил в Уснаже. Был он генеральским

зятем; тесть его был из царской свиты, влюбился в Гродно в очень красивую еврейскую девушку и на ней женился. У них была дочь, они её выдали замуж за Киславского, молодого кавалериста и красавца.

Тесть-генерал так повёл дело, что Киславский за три года вырос в чинах и получил титул генерала, хоть от природы был очень ленив и ненавидел труд.

Затем ему тесть купил вышеупомянутые именья, и он, оставив военную службу, стал помещиком. Тесть умер, а тёща, еврейская дочка, поселилась у зятя. Были они в хороших отношениях с Розенблюмом и Любовичевой и ездили к ним в гости. Киславский был очень оригинальным человеком, со странными, непонятными капризами и взглядами. Крестьянина, приходящего к нему на работу, он приглашал в зал и объяснял, что жена его очень хорошо играет на фортепьяно. Тут же звал жену и просил играть. И она играла. Киславский очень интересовался тем, какое впечатление производит игра на крестьянина. Он пристально на него смотрел, пытаясь уловить в глазах крестьянина впечатление от игры. И если тому нравилось, Киславский был счастлив.

Такой у него был характер.

Мы были по соседски хорошо знакомы. Возвращаясь от Розенблюма, он почти всегда останавливался у моей корчмы и заходил повидаться. Взгляд его, движения, речь – всё было странно, и казалось, что в этом человеке есть нечто непостижимое.

Как-то летом ехал я мимо его усадьбы. Он как раз стоял в воротах. Естественно, он меня к себе пригласил и тут же захотел угостить игрой своей жены.

Музыкой он, как видно, испытывал душу человека.

Но я очень спешил и отказался. Тогда он мне покажет своё имение, а ещё. - с лошадей и коров. Но вместо этого он вдруг три раза вскрикнул, поймал проходившую мимо курицу и заявил:

«Вот курица как раз снесла яйцо. Понимаешь? – Яйцо...»

И этот красивый, странный, непонятный помещик с его непостижимыми, особенными капризами, глубоко задумался.

К этой же компании старинных типов и лиц принадлежит, конечно, и Йосл Лидер, еврей из Кринков.

Йосл держал в Кринках коробку, и при одном этот слове тело пробирает дрожь. А Йосл из таких был самым худшим, самым убийственным. Если к нему применить то, что говорится в народных песнях, где держатель коробки показан таким уродом - то для него это будет слишком слабо.

Принято было, что ешувник резал корову или быка, или

несколько ешувников вместе резали зараз пару быков и засаливали целую бочку мяса. Если было мало для бочки, докупали ещё, обычно в складчину, и снова засаливали. И всю зиму в деревне едят мясо, как волки. Фунт мяса стоил, может, грош. Когда-то на мясе ещё и зарабатывали. Продавали крестьянам кожу, заднюю часть. Резали обычно совсем худых коров, дающих мало молока, или совсем молодых. Для оплаты коробочного сбора договаривались с коробочником на пять-десять рублей в год, и - свободны на целый год. Режут, сколько хотят.

Но многие ешувники не желали давать коробочнику никаких денег. Его обжуливали, и когда он приходил с десятскими в деревни для ревизии и искал зажуленное мясо – его прятали в надёжном месте. Но если коробочник зажуленное мясо захватывал, то делал с ним что-то такое нехорошее, отчего в городе это засоленное мясо не ели: бульон от него был острым, как уксус от бочковой селёдки.

Бедняки его покупали за гроши. Понятно, что для коробочника это уже было то же самое, что годовой сбор с ешувника.

Но с Йоселе всё было по-другому. Являясь с ревизией насчёт мяса, он поступал хуже, чем ревизор патентов. Захватив у кого-то мясо, забирал из дому разные вещи в виде залога, и ему приходилось хорошо заплатить: не боялся ни асессора, ни исправника. Он не боялся, но они все его боялись - за его злобную прыть и особенно за его доносы: он мог на них донести, куда надо. Он мог и на губернатора донести, так как точно знал – что, как и где доносить.

И Йосл Лидер стал буквально властителем. Не боялся никакого чиновника. Надумал забрать имущество и бочку водки – и что ему сделаешь?

Ешувник уже был должен платить Йослу, сколько тот прикажет. А потом - ещё больше, сверх нормы.

Я тоже, понятно, закалывал, как и мои соседи, но засаливать, как они, на несколько месяцев или на полгода, я не мог. Я тоже, слава Богу, ел засолённое мясо, но самое большее – на месяц. Йослу платить – я не платил и – да простит он мне – я тоже жульничал уж слишком большую сумму он запрашивал.

Я не мог выдержать его издевательств и особенно – этого страха, который он внушал! Услышав, что Йосл отправляется по деревням с ревизией, все умирали от страха.

Понятно, что и я его достаточно боялся, хотя у меня была хорошая защита: Розенблюм. Своё «зажуленное» мясо я держал у Розенблюма в поместье и не платил Йослу ни гроша.

Йосл также держал винокуренный завод и обжуливал акциз,

сколько хотел. Исправник, который не очень-то любил Йосла, искал случая с ним расправиться. Но страшно было с ним связываться. Доносчик – хоть и еврей, ведь это сила.

Но однажды исправник просто рассказал губернатору, что Лидер сильно жульничает с акцизом на своём заводе, так как все акцизники его боятся как большого ябедника и доносчика, и нужно, наконец, послать несколько акцизников к нему с ревизией.

Губернатор послал комиссию из шести человек, которые явились днём на завод и захватили тридцать десятиведровых бочек спирта, спрятанных от акциза.

Но ловкий Лидер схватил топор и у всех на глазах разбил бочки. Спирт вылился. Потом он тут же бросился в запряжённую телегу и уехал в направлении Соколки и, проехав несколько вёрст, свернул в расположенную по пути деревню, разбил тем же топором колесо и в таком виде въехал в деревню. Было воскресенье. Крестьяне толпились на площади перед корчмой. Йосл протиснулся к стоящим со своим разбитым колесом и говорит крестьянам жалобным голосом, что только он выехал из Соколки, как сломалось колесо, и просит одолжить ему колесо для телеги. Ему надо срочно ехать на завод, куда должны явиться акцизники с ревизией. Без него – будут неприятности. Тут он вынул часы, взглянул и сказал, как бы про себя, но достаточно громко:

«Уже три часа!»

Через час они придут, и он боится, как бы не опоздать.

«Три часа, три часа, три часа!» - качал он в растерянности головой, - дайте мне колесо, уже три часа!»

Дали ему колесо, и он поехал на завод. Но к тому моменту было уже четыре часа!

Комиссия составила протокол с претензией на двадцать две тысячи рублей и возбудила уголовное дело за разбитие у них на глазах бочек.

Недели через две Лидер был вызван в суд вместе с целой деревней крестьян, названных им в качестве свидетелей, и все они поклялись, что ровно в три часа, по дороге из Соколки, Йосл был у них в деревне со сломанным колесом. Они ему из жалости дали колесо. И Йосл был от суда освобождён.

Исправник, услышав, что Лидера освободили, получил удар. При своей тучности он просто рухнул на месте. Губернатор не захотел молчать и приказал Лидеру явиться. Йосл понял, что тот его обязательно арестует, что он сядет в тюрьму неизвестно на сколько, и никто даже не пикнет. И всё же поехал к губернатору.

Губернатор тут же на него закричал:

«Ты у меня сгниёшь в тюрьме! Мошенник!»

Йосл встал и хладнокровно возразил:

«А я о тебе сообщу, что ты участвовал в краже сибирского золота. Вместе с тем, кто уже сидит четыре года за это в тюрьме. Я знаю, я всё знаю! А твои поместья, что ты имеешь в Гродненском уезде – ты не купил, а получил как взятку от помещиков».

Это было не очень далеко от истины, и губернатор на минуту растерялся, смешался, и Йосл двинулся к выходу.

Минут через пятнадцать губернатор, придя в себя, поднял на ноги всю гродненскую полицию в поисках Лидера. Но он исчез, как в воду канул.

А губернатор тут же подал в отставку.

Когда люди потом спрашивали Йосла, как он посмел такое сказать губернатору, да ещё в его собственном доме, он спокойно ответил:

«Тот, кто ходит в грязной одежде, - будь он хоть губернатор - не должен искать пятен на одежде другого».

И он остался таким же грабительским коробочником, как и раньше.

И ещё одну историйку припоминаю о том же Йосле.

В городе Кринки произошёл большой уголовный процесс. Я уже плохо помню, как это всё случилось. Кажется, кого-то похоронили без разрешения, при том, что требовалось вскрытие. Только знаю, что двенадцать хозяев, из важнейших городских деятелей и из похоронной компании, во главе с Йослом Лидером, должны были отправиться в Сибирь.

В Кринки прибыла сессия окружного суда, весь горд был на ногах. Всё кипело и бурлило. Опасались одного свидетеля – могильщика, на ком, по-видимому, держалось всё обвинение.

Что с ним делать? Он ведь обязательно сделает город несчастным. Убрать его раньше было трудно. Полиция его заранее задержала и доставила в суд. Берегла, как зеницу ока.

Когда начался суд и дошла очередь до того могильщика, все стали дрожать. Сейчас всем будет плохо. Йосл Лидер страшно покраснел и напрягся и вдруг закричал страшным голосом, хватаясь за зубы:

«Ой-ой-ой! Беги, Рувен, беги!»

Председатель спросил, почему он так кричит, а Йосл стал сгибаться и извиваться, хватаясь за щеку и крича диким зверем:

«Ой, зубы, Рувен, беги, не могу ни о чём думать, беги, Рувен! Ой, не могу жить, зубы болят, беги, беги!».

При виде человека, так страдающего от зубной боли, все забегали с предложением разных средств, и Рувен-могильщик, разобравший в этих криках цитату из Торы[21], тут же смылся.

Йосл, пристально следя, посреди самых ужасных воплей, за Рувеном, - увидев, что опасность миновала, отнял руку от щеки и спокойно заявил:

«Мне уже лучше...»

И суд всех освободил. Не хватало главного свидетеля, на котором держалось всё обвинение.

Глава 10

Лес Розенблюма. – Я в должности лесника. – Домик в лесу. – «Он по миру пойдёт!" – Адвокаты. – Доброжинский. – Одежда на немецкий лад. – Письмо отца. – Брюки. – Моё письмо. – Новый спор с отцом.

К тому времени Розенблюм недорого - за восемьсот рублей - купил лес, вёрст в десяти от нас. Это был густой лес, более полверсты в длину и около четверти версты в ширину – лес на дрова и лес строительный. Меня Розенблюм назначил продавать лес окрестным крестьянам отдельными участками. Договорились, что три дня в неделю – в понедельник, среду и четверг – я буду продавать лес. Я объезжал в базарный день три окрестных города – Кринки, Амдур и Соколку, с двумя десятскими: один бил молотком в медную тарелку, а другой объявлял собравшимся крестьянам о продаже трижды в неделю местного леса на дрова.

Крестьяне с телегами и топорами были уже в лесу. Я им продавал деревья, и они их рубили. В первый день со мной ещё был Розенблюм, потом он уехал.

Лес в качестве гешефта мне понравился. Я увидел, что на этом деле можно хорошо заработать. Нанять пильщиков, нарубить деревьев и нарезать доски для всяких построек - с этого можно взять кусок золота. И я это сказал Розенблюму. Он поговорил с Любовичевой. Но они не могли уделять внимание этому моему занятию. У них и без того было много работы. Поэтому они решили, что следует продать деревья похуже, а потом решить, что делать дальше.

Я знал, что это она так считала. Это она боялась, что я здесь получу подряд для своего удовольствия, буду бездельничать - как она любила про меня выражаться. Пропащее дело!

Я ездил три раза в неделю в лес с раннего утра и целый день размечал лес. Каждый крестьянин сначала выбирал себе дерево, потом шёл ко мне, чтобы я ему его продал. На проданное дерево я ставил штемпель: крепким, стальным молотком выбивал фамилию «Розенблюм». И крестьянин его рубил. Крестьяне меня всё время таскали с одного конца леса до другого. Один тащил на восток, другой – на запад, и так без конца.

Тогда стояла большая жара. Хотелось пить, а воды не было. Я брал с собой бутылку воды, но она сразу становилась тёплой, и её было невозможно пить. Я приказывал вырыть глубокую яму, ставил туда воду – ничего не помогало.

Тут мне пришёл в голову оригинальный план. Я ведь буду зимой по-прежнему в лесу, и возвращаться ночью домой – почти невозможное дело: мороз, волки, тоска. Надо бы здесь построить корчму, с хорошим колодцем, так я буду защищён ото всего: от холода, голода и жажды. Стройматериал взять из леса, а работать будут крестьяне. Вместо платы за работу я буду давать им лес. Всё это не будет стоить ни гроша, кроме как за кирпичи и кафель для печки.

В корчму я найму еврея, и там будет моя контора, и так как я не буду в первый год брать у еврея за аренду денег, он будет как следует за мной смотреть. Будет мне ставить самовар, варить еду, а я буду наслаждаться жизнью назло помещице.

Розенблюму мой план понравился, и он согласился. И почему бы он был против? Зимой это, конечно, необходимо. Я приступил к работе и месяца через три построил корчму – ну просто куколку: большое двухкомнатное помещение с отдельной конторкой для меня, с сарайчиком и глубоким колодцем, где нашли хорошую воду.

Когда всё было готово, Розенблюм явился с помещицей посмотреть на корчму. Они были довольны. Меня они даже благодарили, но в глазах помещицы я прочёл, что она не в восторге от предстоящего мне удовольствия.

На обратном пути помещица, как я и предвидел, стала натравливать на меня Розенблюма. Она считала, что меня нельзя допускать к делу. Я только расшвыряю деньги, и всё.

"Корчмушку он себе построит на это он годится", - ворчала она.

Я опять сказал Розенблюму, что здесь можно сделать большое дело, что можно здесь заработать хорошие деньги.

Но помещица ему не позволила. Мне приказали продавать лес очень дёшево, чтобы за год продать всё; я опустил руки. Я проводил долгие ночи в лесу один со своей лошадкой и с бричкой. С собой у меня был целый чайный сервиз. Корму я сдал еврею в первый год бесплатно.

Всю зиму я продавал лес, но так дёшево, что все надо мной смеялись, и по утрам приходили с телегами по две сотни крестьян и шляхтичей. Три раза в неделю я работал очень помногу, с темна до темна. Зима была очень суровой: большой мороз, много снега, но покупатели в большой снег и в завируху тащились в лес.

Я заваливался в контору совсем измученный, но самовар стоял наготове, и это меня оживляло. Я пил и ел, что-то читал и размышлял о своих делах.

Мне пришлось справить себе для леса новую одежду,

например, полушубок, хороший, тёплый тулуп, сапоги и валенки с глубокими галошами, хорошую, тёплую шапку, рукавицы – всё, что нужно для зимы. Жалованье я получал шестьдесят рублей в месяц.

Но когда я пришёл в четверг из леса домой в Макаровцы и явился в новой, «лесной» одежде в имение к Розенблюму, помещица, при виде меня взорвалась:

«Он по миру пойдёт, чтоб я так жила!» – зашипела она, как змея.

И частично, следует признать, Любовичева, возможно, была права...

Было приятно красивыми зимними вечерами, по хорошей дороге, при луне, ехать в санках десять вёрст в Соколку. Там у меня было два товарища – один по фамилии Полякевич, другой - сын Барух-Лейба. Поездка в десять вёрст занимала у меня меньше получаса. Я скорее летел, чем ехал. Раз опрокинулся вместе с санками в снег - но не опасно: снова вскочил в санки – и айда дальше.

В Соколке я проводил часа два, и к девяти уже снова был в конторе. Самовар стоял наготове, и так я провёл зиму.

Лес я почти совсем продал, но очень дёшево – по восемьдесят, девяносто рублей за тонну. Розенблюм заработал с леса кругленькую сумму в несколько тысяч рублей, и после Песах я сказал, что больше не заинтересован в этой работе.

Лес уже стал редким; я нашёл торговца, давшего за остаток редкого леса пятьсот рублей и сто пятьдесят за корчму.

Тот еврей ещё заработал тысячу рублей. Я ни в чём не ошибся - когда Розенблюм посоветовался с другим евреем - опытным лесоторговцем - тот сказал, что на лесе можно было заработать пятьдесят тысяч рублей. Тут уже Розенблюм пожалел, что не последовал моему совету.

Кредиторы пана Доброжинского стали добиваться денег через суд. Они хотели забрать у Розенблюма поместье Макаровцы и продать с аукциона.

Розенблюм нанял для суда троих адвокатов из Гродно, среди которых оказался также Исроэль-Хаим Фридберг, каменецкий писарь, знакомый моим читателям по первому тому. Дело было отправлено в Сенат, Розенблюму это стоило несколько тысяч. Тянулось это три года, но он выиграл.

Я за это время познакомился с адвокатами, которых взял Розенблюм. Поскольку Розенблюм был занят, ездил к ним я. Я тогда ещё ходил в долгополой одежде. И однажды, когда я так появился у адвоката Кнаризовского, у которого в это время собралась гродненская интеллигенция, он меня принял не очень

любезно. Я, естественно, обиделся и тут же уехал домой. Розенблюму я сказал, что не передал ему то, что касалось дела и что я вообще больше к нему не поеду.

«Он – большой гордец и плохо меня принял».

Розенблюм ему по этому поводу написал. Адвокат извинился, прибавив, что являться в длинном капоте в гости – не очень красиво.

Розенблюм считал, что адвокат прав, и волей-неволей (нет, скорее волей), я оделся в короткое, на немецкий лад, платье, со штанами поверх сапог. Идя в таком, на немецкий лад, виде в Гродно по улице, я встретил каменецкого еврея из числа хороших знакомых деда. Он мне обрадовался, и я, по обычаю, просил передать сердечный привет отцу, деду и всей семье.

Через несколько недель получаю я от отца с матерью письмо. Ночью, уже лёжа в постели, я прочёл отцовское письмо. Писал он нечто в таком роде:

«Мой сын, в Каменце передал мне Шолем-пекарь от тебя привет. Я спросил, что делает мой сын, как он выглядит? Он сказал: «А, он уже ходит со штанами поверх сапог». Я просто оцепенел, ощутил удар в сердце, как от пули, я растерялся. В жизни я не чувствовал себя таким несчастным, как в этот момент, и от горя три дня не ел. Приехал домой в Пески и встретил гостью, твою свояченицу Хадас, невестку раввина, она по моему виду поняла, что я сильно угнетён, и мне пришлось рассказать ей о привете, переданном с Шолем- пекарем, и поднялся плач, и твоя мама с Хадас долго, долго плакали.

«Скажу тебе, мой сын, что я лучше получил бы от тебя привет, узнав, что ты ходишь в рваной капоте, чем в штанах поверх сапог, короче – если ты не напишешь мне, что ходишь с заправленными в сапоги штанами – как носит твой отец и как носили наши предки, - я тебе больше не отец».

Письмо меня раздражило. Я весь дрожал, его читая. С учётом тогдашней эпохи Хаскалы и моей тогдашней глупости - письмо для меня было «воплощением фанатизма и темноты».

А что с того, что он отец, - думал я со злобой, - что мне от этого? Не такой уж он большой знаток - древнееврейский язык я знаю лучше его. Никакого наследства я от него тоже не получу. И он отказывается быть мне отцом?

Я решил написать ему назло большое письмо, в котором открыто заявлю, что заправлять брюки в сапоги я не буду, что я вообще уже хожу в короткой одежде – и всё. Я так хочу.

Мама тоже написала, как настоящая еврейка. Письмо было не письмо, а настоящий свиток скорби, с плачем и воплями:

«Хацкеле, ты уже ходишь в длинных штанах? Твой отец, твои

деды не ходят в длинных штанах. Прошу тебя, мой милый, дорогой сын, чтоб ты больше не ходил в длинных штанах". У меня аж в глазах зарябило от всех этих штанов.

Письма отцу я всё же не написал. Успокоил я себя тем, что не буду иметь с ним никакого дела. Если он мне – не отец, то и я ему не сын.

Так прошло два месяца. Понемногу сердце начало подавать голос. Я стал думать о том, как отец переживает. Такой милый еврей, такой дорогой человек, такой сердечный отец. Ну, чем виноват этот правоверный еврей старой закалки, что не может видеть человека в короткой одежде? Кстати, он ведь уверен, что сын его из-за короткой одежды навечно лишится покоя на том свете. Он знает, что я – «просвещённый» и искренно верит, что не даром я умею писать по- древнееврейски письма таким высоким слогом.

Пока я ходил в долгополой одежде – для него это было каким-то знаком, что я ещё держусь еврейских обычаев, но теперь, когда я и этот знак отбросил - он боялся, очень боялся за меня: что со мной будет?

Что же теперь делать?

Написать ему и пообещать, что я буду ходить в заправленных в сапоги штанах, я не хотел - зачем лгать? Снова к этому вернуться ради отца я не мог: долгополая одежда мне давно надоела, я её стыдился.

После долгих размышлений я решил ему написать, чтобы он за меня не беспокоился - я не из тех, кто живёт чужим умом, и никаким апикойресом не стану, что я честный еврей и т.д., и т.п.

Начал я письмо и влез Бог знает куда: в знание, веру, философию и исследование - написал на восьми листах. Целых два месяца писал.

Письмо начиналось со своего рода введения с отрывком из нашего учителя Саадии Гаона[22], а именно:

"Что отличает веру без знания от веры со знанием? Первое - подобно слепцу, держащемуся за другого слепца, а тот - за третьего, и т.д. И всё субботнее пространство[23] проходят слепые, держась друг за друга, но ведёт их зрячий человек. Слепые знают, что первый, зрячий, их приведёт в город, куда они направляются. Но последний из слепых не уверен в своём движении. Ему всё кажется, что по пути он может натолкнуться на дерево или камень. Другой случай - когда вера сочетается со знанием - подобен слепцу, держащемуся непосредственно за зрячего. К тому же - в руках у него палка. Тот уже уверен, что достигнет города, куда направляется, и не споткнётся".

Так я доказывал отцу, что не боюсь "споткнуться". Моя

просвещённость мне только поможет, а не повредит.

Отправляя отцу письмо, я совсем не предвидел, что вся моя работа будет впустую. Что отец, увидев так много исписанной "философскими рассуждениями" бумаги, побоится читать. А если и возьмётся читать - его это не заинтересует. И так и случилось: он это сразу сжёг.

С тех пор он писал мне только простые письма, сообщая о своём здоровье. И о здоровье других.

Глава 11

Снова Любовичева. – Её уговоры моей жены. – У меня начинаются неприятности. – Я бегаю за рецептами. – Печальная история с конём. – Доктора. – Я снова собираюсь в путь.– Еду в Каменец.– У деда в Пруске. – Воровство у акциза. – Донос. – Бумажные деньги. – Мой приятель – Тёмные дела.

Любовичева чем дальше, тем больше влияла на мою жену. Та день и ночь работала, почти без перерыва, и мне это портило жизнь.

Жена родила дочь. Помещица пришла на другой день и сказала, что она хорошо выглядит и, как ей кажется, сможет на третий день встать. Ей не подходит лежать после родов восемь дней, как другие еврейские женщины.

"Ты такая замечательная хозяйка, - улыбалась она, - так вставай побыстрей".

Жена её послушалась, и - не на третий, как хотелось Любовичевой, а на пятый день после родов встала и начала выполнять по хозяйству всю тяжёлую, деревенскую работу: делала из кислого молока сыр, из сметаны - масло, доила коров, и проч. Естественно, что от подобных замечательных хозяйственных подвигов она стала кашлять и получила боли в сердце. Я привёз доктора, который сказал, то это - начало туберкулёза.

Я тут же позаботился, чтобы она не работала, и поехал с ней в Гродно к другому врачу. Конечно, она оказалась серьёзно больна. И заболев, увидела все совершённые ею ошибки. Кроме того, что она заболела от работы, но вред был и в том, что она отвадила от работы прислугу. Прислуга регулярно отлынивала от работы, так как жена делала всё сама. И теперь работать было некому: у прислуги не было к этому желания. И сразу всё пошло насмарку, и я только бегал по докторам и за рецептами.

Для ребёнка пришлось взять кормилицу. Корчма и молочная ферма были заброшены. Розенблюм взял у меня ферму - ждать он не мог - беда, да и только.

В корчме также не доставало мёда и вин. Мне было некогда за этим следить, и соседний богатый арендатор перетянул к себе весь мой заработок.

Жена чем дальше, тем всё больше заболевала, и я только и был занят докторами и рецептами. Помню, как-то ночью был у нас доктор. Он прописал рецепт и велел немедленно приготовить

лекарство. Я взял у Розенблюма лошадь и поехал верхом в аптеку в Кринки. Вернулся в час ночи. Поставил коня возле дома, стал сползать с седла, но застрял ногой в стремени. Конь был очень высокий, он побежал по двору, я упал на землю с застрявшей в стремени ногой, и конь протащил меня в таком виде по дороге. Коню, как видно, тоже не понравилось, что нечто, зацепившись, болтается у него внизу, и он стал брыкаться и бить копытами задних ног. И это тоже было довольно тяжело.

Я громко закричал, схватился у забора за столб и попытался высвободить ногу, но не смог. И так, пытаясь высвободиться, я, как типичный еврей, потерял на месте сознание.

От коня удалось избавиться: ботинок сам соскочил и остался в стремени. С полчаса я лежал без сознания. Потом пришёл в себя, стал кричать, было это рядом с домом, меня подняли, привели в чувство, протёрли тело спиртом и, выспавшись, я встал здоровым.

Однажды, когда я привёз знаменитого доктора домой, он обследовал мою корчму и простукал её стены. Стены были густо покрыты сыростью. Доктор сказал, что болезнь жены - от стен, от сырости, и если её не увезти подальше от корчмы, она не выживет. Я, откровенно говоря, не имел тогда никакого понятия о сырости и о том, что это опасно. Кто смотрит на сырость - тоже мне вещь! У нас была сухая комната, я перенёс туда постель жены, и она постепенно пришла в себя, пока совсем не выздоровела.

Розенблюм мне вернул молочную ферму, но корчма уже была не то, что прежде. Утраченных гостей я уже не смог вернуть. И я снова задумался о путешествии Макаровцы - для меня не место: Любовичева будет изводить жену рассуждениями о том, как надо надрываться на работе и экономить, экономить, экономить.

Я написал обо всём деду. Он ответил, советуя приехать в Каменец, а он уж мне достанет усадьбу. И сразу после Суккот я отправился в Каменец. Из нашей семьи там остался дядя Мордхе-Лейб с единственным сыном. Дед, как я уже писал, жил в Пруске. И из Каменца я отправился к нему. Он тогда был занят винокуренным заводом.

В то время в Гродненской губернии все винокуренные заводы были в руках евреев. На каждом заводе были часы, показывающие, сколько выходит ежедневно спирта. И перед открытием завода являлись акцизные и запечатывали казёнными пломбами все кадки и бочки. Пломб сначала было мало, но после спохватились, что воруют слишком много спирта, и пломб появилось больше. Но не потому вначале было меньше пломб, что не знали, где надо их ставить, а просто потому, что акцизные

брали большие взятки и делали вид, что ничего не замечают. Постепенно дошло до трёхсот пломб на всех аппаратах завода.

Но тут начался новый вид воровства, и сами акцизные поняли, как воровать с помощью часов, как хапать спирт - но до того, как он пройдёт через часы.

Акцизные гребли золото вместе с водочными фабрикантами. Для акцизных это просто была золотая жила.

Был у нас в Каменце часовщик М., - настоящий гений по части фальшивых пломб и подписей. Он мог сделать такую чистую работу, что её обнаружить было невозможно. Он, по сути, мог бы очень хорошо подделывать золотые и серебряные деньги, но не хотел рисковать жизнью. Но тут, на заводах, он подделывал все акцизные подписи и пломбы, и акцизные об этом знали.

Он мог бы стать очень богатым, но только тем же акцизным проигрывал в карты, в которых ему сильно не везло. Он также был очень избалован и в Бриске, куда часто приезжал на несколько дней, проживал изрядную сумму.

Акцизным он помногу одалживал. Его таскали по всей Гродненской губернии, по всем заводам, и он давал разные советы - как сделать, чтобы побольше украсть спирта. Но делал всё это с ведома самых высших акцизных чинов, поскольку хотел жить спокойно, никого не опасаясь.

У деда в Пруске он устраивал такой кунц: делал дырочку в десятипудовой медной трубе, закрученной наподобие змеи. По трубе горячий спирт поступал прямо в часы. Дырочка была сделана очень ловко. В неё вставлялась трубка, и ежедневно хапалась масса спирта. Так прошёл месяц. Дед сделал неплохой гешефт, хоть имел и большие расходы. При воровстве есть всегда большие расходы. Так, например, он дал за месяц пятьдесят рублей смотрителю, семьдесят пять - объездчику, и триста - управляющему с помощником. Крестьяне, которые тянули спирт, тоже получали деньги. Но продолжалось это недолго: донесли в губернию, явилась комиссия от акциза. Явилась тихо и сразу набросилась на "змею" - и как раз в момент, когда крестьяне тянули спирт. Шесть вёдер было вытянуто, но крестьяне успели удрать.

Тут же опечатали завод вместе со "змеёй" и составили протокол. Но наступила ночь, и как следует понять, как происходит воровство, они не успели. Поставили трёх десятских - следить, чтобы не сорвали печати. Комиссия вместе с асессором заночевала в усадьбе, чтобы завтра обдумать всё как следует.

Дед тут же привёл механика. Десятским дали, сколько надо, чтобы притворились спящими, вынули "змею" и наложили изнутри что-то вроде заплаты. Дырка осталась на месте, но

никакого спирта оттуда не вытекало: часовщик уже успел сделать операцию быстро и как надо.

Наутро после завтрака, часов в 12, явилась комиссия, чтобы выяснить, как именно воруют спирт. Но спирта не вылилось ни капли - он весь прошёл через часы. Снова дали, сколько надо, и всё дело замяли. Комиссия уехала с миром, и дед опять повёл своё дело с миром. Быстро придумали новый кунц - уже не помню, какой.

В Брисском уезде было два завода, которые держали помещики. Они быстро разбогатели - воровали совсем без жалости.

Если зашла речь о гениальном мошеннике, часовом мастере, таком типичном для прежних времён, стоит рассказать историйку из его детских лет. Был он моим приятелем. Мы вместе учились у Моте-меламеда. В те времена, из-за нехватки мелких денег, было каждому разрешено властями выпускать свои собственные бумажные монетки - мелкие деньги не дороже двадцати пяти копеек. Многие хозяева выпускали бумажные монетки в одну, две, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать и двадцать пять копеек. Чтобы крестьяне тоже разбирались в деньгах, использовался "крестьянский алфавит" в виде чёрточек: сколько чёрточек, столько копеек. Только на монетках от пяти до двадцати пяти копеек - чёрточки больше размером, означающие десятки. Указывались также имя и фамилия выпустившего монету.

Квиточки эти имели хождение в городах и сёлах всей Гродненской губернии (понятно, что в других городах тоже). Настоящие мелкие монеты - меньше, чем по половине рубля, вообще попадались редко. Квиточки крестьяне брали в обмен на привозимые ими на продажу продукты. Считали деньги по палочкам, что было для них непростым делом - ведь крестьянам даже палочки считать трудно. Распродав весь товар, они за квиточки получали товар в магазинах или напивались, а если оставалось - предлагали их на обмен евреям. Для крестьян бумажные монеты были неудобны: во-первых, их было трудно считать, во-вторых, мелкие квиточки, которые долго залёживались - они часто теряли. И в-третьих, на обмене они проигрывали, и т.п.

Конечно, мой дед был первый, кто стал делать квиточки, но потом ему это надоело. Все хозяева их производили.

Для маленьких магазинчиков эти квиточки стали спасением. Благодаря им они справлялись с "делом", не ощущая нехватки в деньгах. Тут же можно было сфабриковать "деньги", если не доставало сотни-двух, и их тут же пускали в оборот. Так продолжалось два года, пока их не запретили также по какому-то

еврейскому доносу. Квиточки тогда отменили, и многие обанкротились, но без скандалов.

И вот, помню, что в то самое время один десятилетний мальчик, о котором идёт речь, учинил с квиточками Тринковского такой кунц: на квиточке в пять копеек подрисовывал полоски так, чтобы получилось двадцать пять, и делал так похоже, что никто не мог обнаружить подделки. Просто замечательная была работа. Получая такой, служивший в качестве денег квиток, Тринковский вначале, естественно, не обращал внимания. Но когда их набралось приличное количество он заметил, что двадцатикопеечных квитков как-то слишком много. Он так много не выпускал. Тут он понял, что произошла подделка. Кстати, этот мальчишка умудрился проколоть посреди квитка кусок бумаги, и когда уже стали следить, это заодно тоже обнаружилось.

Эта подделка вызвала в местечке большое волнение, и после тщательных выяснений и допросов виновного обнаружили. Раби Мотке дал будущему часовщику двадцать пять розог - намёк на двадцать пять фальшивых копеек. Во время порки все мальчики должны были считать и с каждым ударом кричать: "Одна копейка, две копейки", и т.д.

Наутро после порки он к нам явился:

"Хацкеле, ты знаешь, я придумал ещё один кунц с квитками. На этот раз сделано будет чисто..."

"Мойше, - говорю ему, - ты же клялся, что больше не будешь этого делать!"

"А! - засмеялся он, как взрослый, - ты, оказывается, тоже осёл. Ладно - раби - осёл, на то он и раби. Ведь я кричал, что больше не буду делать тот кунц, но другой-то можно!"

Для него это действительно был только кунц. За деньгами он на самом деле не гонялся. Как всем художникам, ему был дорог замысел. А рисовать он умел прекрасно.

Оставаться при своих кунцах часовщик не мог: под конец последовали многочисленные доносы, и акцизные намекнули, что ему надо бежать. И он уехал в Америку.

Глава 12

Дед. – Помещик Шемет. – Кошелево. – Пан Шемет обманывает деда.– Для меня арендуют усадьбу. – Отъезд из Макаровцев. – Я стал настоящим собственником. – У отца. – Отъезд в Кошелево. – Забот - как дров.– Договор с мужиками.– Волки. У-у! – Страх.– Болото.– Сожаление. – Антон.

Дед был очень занят на винокуренном заводе, и всё собирался съездить к предводителю Шемету, владельцу многих усадеб в Пружанском уезде. Сам он жил в тринадцати верстах от Каменца. Дед однажды уже арендовал у него усадьбу Бабич возле Каменца для своего сына Йоселе. У него можно было дёшево взять усадьбу, и евреев, которым он их сдавал в аренду, он никогда оттуда не выставлял. Всего он владел пятью миллионами чистых денег, хранившихся в Варшавском банке. Сам уже старый человек, имел он ещё молодую жену и единственную дочь пятнадцати лет.

Контракты заключать он терпеть не мог, но слова своего не нарушал. Достаточно было платить деньги за аренду, даже и не в срок - тоже он ничего дурного не делал. Дед поэтому хотел прежде всего съездить к нему, но никак не мог оторваться от своего завода, и мне пришлось сидеть и ждать в Пруске.

Только через два месяца дед смог съездить к Шемету. Тот был ему рад, как большинство помещиков, но дед от него узнал, что все его именья уже заняты. Осталось одно маленькое именьице под названием Кошелево, с посевной площадью всего в 150 акров. Пшеница там не росла, так как земля была скудной, но травы было очень много - болотной травы, растущей на болотах. Трава была также и в лесу.

"Если берёшь, то твоему внуку я отдам за шестьсот рублей. Он себя сможет здесь хорошо обеспечить: получить четыреста возов сена. Крестьяне сделают для него в поле всё, что надо для сена. Но пусть никто не знает, что ты берёшь, т.к. крестьяне должны сеять яровые, и если узнают о твоей аренде, то так плохо засеют, что ты ни гроша не получишь. Так что езжай домой другой дорогой, а не через деревню Михалки. Михалки слишком близко от Кошелева".

Этот Шемет, ко всему, был большой жулик. Слово его, хоть и было железным, но если мог он кого-то обмануть, то не отказывал себе в этом. И если кто-то ему говорил:

"Барин, ты меня обманываешь", - он отвечал:

"Как тебе не стыдно признаваться, что ты дурак. Ведь обмануть можно только дурака. Стыдно давать себя обманывать. Говорю тебе - дурак не должен заниматься делами".

Так он высмеивал людей. Но когда его хватали за руку и чёрным по белому доказывали, что он тут явно обманывает - старый помещик тоже не смущался и с особой гордостью отвечал:

"Во-первых, ты уже поумнел. Но впредь - не обманывайся".

Умного деда он тоже обманул. Он нарочно не велел ему возвращаться той же дорогой, чтобы дед не осмотрел усадьбы. Поскольку, если бы дед её увидел, то, конечно, не стал бы арендовать. А о том, что внуку придётся постоянно воевать с крестьянами и оказаться заброшенным и одиноким в лесу дед совсем не подумал. Но особенно здесь не доставало дорогой бабушки. Уж она такого приобретения конечно бы не допустила.

Дед дал сотню наличными и получил справку о том, что снял усадьбу Кошелево за шестьсот рублей в год. При этом не было отмечено число лет. Это одно. Второе - в справке было написано, что я обязан засевать поля сам, не передавая их для обработки крестьянам, за что они отдавали бы хозяину две трети снопов, оставляя себе треть. Этот пункт, который обычно служит в пользу хозяина, здесь был незаметно изъят, что стало для меня несчастьем.

Дед спросил Шемета, почему у крестьян совсем нет пастбищ? Ведь после восстания ездила комиссия и наделяла крестьян землёй. Где есть поле, должно быть пастбище и сено. Как может быть одно - без другого?

"Я их умнее, - победоносно усмехнулся Шемет. - Когда комиссия ко мне явилась, я угостил чиновников своим старым вином - и готово. Вином можно задурить голову, тем более - старым. И комиссия написала, что я хотел. Я ещё лучше сделал - я оставил себе кусок луга, у самой деревни. И этот кусок луга, способный давать до 50-ти возов сена, служил мне как кнут против крестьян - коров ведь надо куда-то выгонять. Захватив его, я получил с этого куска по полрубля. Таким манером с них можно шкуру сдирать. Будет твой внук человеком - сможет вытянуть из них много денег. Скажи ему... скажи...

Дед, который мимо Кошелева не проезжал, вернулся в Пруску довольный. Он считал, что дёшево снял для меня хорошее имение у хорошего помещика.

"Поселившись там, Хацкель уж там и останется", - потирал дед с удовольствием руки. Шемет не берёт никаких надбавок, не вмешивается в дела съёмщика. Каждый работает в имении сам по себе, Шемет в его сторону даже не смотрит".

Я, тоже очень довольный, сразу поехал домой в Макаровцы.

Как дед - так и я. Если дед доволен - значит, и я также. Я сообщил Розенблюму, что перед Песах уезжаю к себе в полученную в аренду усадьбу, и он может передать корчму с молочной фермой другому. И стал постепенно готовиться к переезду в Кошелево. Мог я это сделать к Шавуот. Но надо было купить много довольно серьёзных вещей: коров, быков, лошадей, сбрую и все необходимые в усадьбе инструменты, - и чем раньше купить, тем лучше. Уже лето, в поле полно работы, и если я займусь покупками и устройством после приезда в Кошелево, пройдёт всё лето, и поля останутся необработанными.

Арендаторы, приобретая новую усадьбу, обычно перебираются туда зимой, к новому году, когда поля покрыты снегом. Они пока собираются, и к Песах у них уже всё готово. Но я перебирался летом и должен был, живя в другой усадьбе, приготовить всё здесь, заранее.

Я снова списался с отцом, сообщая, что приеду к нему в Пески в марте, всё куплю и у него оставлю, и в мае выеду со всеми причиндалами в Кошелево.

В Макаровцах я тем временем всё продал и послал объявить во всех бет-мидрашах в Кринках, что если есть у кого-то ко мне претензии, чтоб пришли, так как я из Макаровцев уезжаю.

Понятно, это объявление в бет-мидрашах было излишним - не было ни у кого ко мне претензий, ни гроша я не был никому должен и вёл себя пустозвоном, как говорят в Литве, из пустого тщеславия, невольно позаимствованного у деда.

Объявили в бет-мидрашах, и никто не явился.

Так я покинул Макаровцы. Некоторые плакали, расставаясь, и громче других - орлянский поп. Он жить без меня не мог и сказал, что если, не дай Бог, мне понадобится помощь и я к нему обращусь - он с себя снимет последнюю рубашку.

Мне тоже сильно разрывало сердце, что я оставляю всех своих соседей и добрых друзей, к которым так привык. Но что поделаешь, если приходится скитаться. Так уж суждено.

Потом я в своём коротком платье пришёл к отцу, и он меня принял тепло. Улыбался своей обычной улыбкой и, как видно, простил мне все мои прегрешения. А может, решил, что лучше смолчать и простить, чем морочить себе голову из-за штанов?

Семья моя - отец, дядя Йосл, единственный сын Арье-Лейб - все мне помогали купить необходимые для полевых работ принадлежности. Я у себя поставил новые телеги для вывоза снопов и навоза, купил сохи, бороны и грабли, лошадей, быков и коров - всё, всё, всё.

Покупали понемногу по воскресеньям, и последнее докупили на шумной Юрьевской ярмарке[24], проходившей в Каменце с

большой помпой, - и хватит!

Пятнадцатого мая мы выехали в Кошелево.

В Кошелевском лесу, в четырёх верстах от поместья, нас охватил страх: пустые пространства болот и трясин, без начала и конца, и четыре версты мы, может, тащились два часа. Сразу нам стало кисло на сердце.

Я видывал леса - сухо, приятно. А тут - ужасные топи и болота, в которых должны пастись коровы. Я сразу понял, что такого рода пастбище не годится для коров. Они будут проваливаться в болота и трясины и не смогут вылезать. Я уже в Макаровцах получил некоторое представление о работе в лесу. Но что поделаешь? Дело пропащее - надо молчать.

Кое-как добрались до усадьбы - и у нас совсем потемнело в глазах. Такая сиротливая, неогороженная усадьба, только ямы, камни и скудная трава.

Внутри, в усадьбе - мрачный дом, длинный, как еврейское изгнанье, чёрный, старый, заброшенный, и надо всем - тоска и промозглость. Как я потом узнал, там жили с тринадцатого года батраки-крестьяне.

И ещё беда: множество коров пасутся во ржи возле усадьбы - хороши порядки! Пастухи, видя наш приезд, разбежались, и нам с женой пришлось сразу же заняться изгнанием коров изо ржи. Мы их загнали в незапертый хлев и пересчитали: их было девяносто две штуки. Закрыли дверь на щеколду.

Примерно через полчаса чуть не все жители деревни пришла в усадьбу -просить, чтобы я вернул им коров. Сами их выпустить из незапертого хлева они всё же не решились. Я сделал вид, что требую по рублю за штуку и отчитал их - что значит - пасти коров в чужой ржи, да это ведь грех! Но мы помирились, и я им выдал арестанток.

Я сказал, что разрешаю им до воскресенья пасти свой скот в моём лесу. После этого мы заключаем в деревенской конторе контракт, по которому они за пастьбу обязуются дать мне на лето работника.

Старшина жил в деревне Михалки, расположенной, как было сказано, по соседству с усадьбой Кошелево. Я его позвал.

"Пане старшина,- сказал я ему, - прошу пригласить ко мне на воскресенье всю деревню, двадцать семь хозяйств, для обсуждения вопроса о пастьбе, которую я согласен предоставить им в моём лесу. В случае, если они со мной не согласятся, не подпишут контракт - я им пасти своих коров в моём лесу не позволю".

В воскресение утром явилась вся деревня вместе со старшиной и меня спросили, сколько я хочу за пастьбу.

Торговались несколько часов и решили, что за каждую корову или лошадь, или даже за телёнка полагается мне два работника с упряжью, т.е., с лошадью.

Мы это обсудили у меня в усадьбе. Потом пошли в канцелярию. Там составили контракт, в который я добавил пункт, что в случае, если я позову кого-то работать - одного или с лошадью - он должен тут же явиться; и если я позвал дважды, а человек не пришёл - он платит три рубля штрафа.

Далее следовал важный пункт: в период жатвы, за три дня до того, как жать хлеб для себя, они обязуются жать для меня, а потом - один день для себя, другой - для меня, и чтобы за две недели ко мне в амбар доставили весь хлеб.

За пятёрку писарь мне составил контракт; он казался таким покладистым, что хоть бери и покупай у него всех крестьян, а старшина мне явно льстил, в надежде на вознаграждение. Поставили печать, расписались - и готово.

Я договорился, что завтра, в шесть часов утра, приду в деревню и запишу, сколько у каждого хозяина коров, чтобы знать, сколько мне должен каждый дать работников.

Назавтра я пришёл в деревню, взял старшину и старосту, и ходил от дома к дому, пересчитывая коров поштучно. Я понимал, что мужики будут меня обманывать и друг на друга доносить.

Помню, что один крестьянин про другого сказал, что тот припрятал от меня где-то за хлевом телёнка. Я собрался с духом и, подзадорив старшину, сделал хорошую ревизию. И когда я захватил телёнка, припрятанного всего лишь ради травы, которую он съест без того, чтобы за неё пришлось отрабатывать - старшина поднял страшный крик: "Вор!" - как если бы лично у меня украли телёнка.

Я записал более шестисот голов. То есть получил шестьсот работников с телегой и шестьсот пеших - недурное дельце.

Луга, расположенные возле деревни, они у меня купили за сто рублей и двадцать семь косарей. О болотном сене я с ними договорился половина наполовину: половину скосить и отвезти мне в амбар, и половину - им.

Крестьяне делали для меня всю работу в поле от алеф до тав[25] - хорошо и с толком. Для меня как для арендатора это была находка - летом не надо было беспокоиться ни о какой работе. Шутка ли - что делать, если наступает время жатвы, с Божьей помощью - лето сухое, и колосья вот-вот созреют и зерно начнёт высыпаться; или наоборот - когда копны стоят в поле и идёт дождь, и их надо как можно быстрее увезти в сарай. А если нет - они будут гнить; или - пришла весна, надо засевать яровые, а стоит вода и идут дожди, и сеять нельзя. А тут вдруг - солнце, и

можно браться за работу, и тогда нужно много рабочих рук - потому что поздно, надо спешить - быстро пахать, быстро боронить, быстро сеять. Ведь если опоздать, урожай не успеет созреть, тогда - большая беда, жизнь - не в жизнь. Одним словом - работников надо побольше. Боже сохрани, если работников не хватает - ты просто пропал. Арендаторы бегают тогда кругом, как пьяные мыши, ища со свечой и в поте лица работников.

В моём случае могло быть всё в порядке, если бы не большие недостатки самого Кошелева. Во-первых - Кошелевский лес. Он занимал 1800 акров и граничил с ещё большим Темерским лесом; а дальше - другие леса, так что кругом был лес. Моя усадебка стояла посреди Кошелевского леса, как раненая птица - одинокая, заброшенная, покинутая - настоящая пустыня. Скудная земля, а там, где не скудная, там - страшные болота и топи - подходящее место, чтоб водились черти. В лесу - ничего: ни пути, ни дороги от одного города к другому, как это обычно бывает. И очень много волков. Гродненский губернатор устраивал раз в два года на волков облаву. Эти волки не боялись хватать у меня гусей из самой усадьбы. Помню, как однажды крестьяне во время пахоты увидели возле усадьбы хромого волка. Бросили работу и с палками и страшным криком ринулись его убивать.

Водились также дикие кабаны, поедавшие с поля картошку.

Пасущихся в лесу коров было трудно собирать, чтобы вести домой. Пастухи кричали, хлестали своих коров и гнали их поодиночке. Иногда пастух не видел корову за деревом. Коровы среди деревьев разбредались, и требовалось много пастухов.

У каждого крестьянина был свой пастух, но тому было почти невозможно развести по домам всю свою скотину зараз. И с каждым бывало, что корова его оставалась на ночь. Это очень пугало мужиков, так как ночью корову вполне могли сожрать волки. В такие ночи крестьяне как сумасшедшие бегали по лесу в поисках своих коров. При этом они ужасно кричали, чтобы корова узнала голос своего хозяина и чтобы отпугнуть волка.

В самый первый вечер я слышал эти призывные, грустные крики бегающих по лесу крестьян:

"У-у!... У-у!..."

Дрожь пробегала по сердцу: лес, ночь, волки и крестьяне, которые едва ли будут мне добрыми друзьями.

Голоса становились громче, слышались всё ближе и ближе:

"У-у!... У-у!..."

В первый раз, увидев несколько крестьян со следами укусов на руках (а укусы были у всех крестьян) после этих страшных криков, мы просто умерли.

Но когда они сдёрнули шапки и приветливо пожелали

доброго вечера, и спросили добрыми голосами, в отчаянии, не причинила ли их скотина мне убытка, нам стало легче на сердце.

Такую мы получили порцию в первую же ночь после нашего приезда в Кошелево. Нас так трясло, что зуб на зуб не попадал. Потом, видя мужиков в таком отчаянии, мы с женой себя напрасно утешили, что не должны их бояться - вполне приличные мужики.

В смысле закона и порядка были тогда крестьяне устроены совсем неплохо - ведь это происходило после их освобождения. У них был свой собственный суд с широкими полномочиями. Суд состоял из четырёх крестьян и мог присудить даже к пятидесяти плетям. Действия его распространялись только на крестьян. Если еврей судился с крестьянином, это уже слушалось у мирового судьи, но если еврей хотел, он мог перенести дело в крестьянский суд.

Суд этот был очень беспристрастный. Никакого различия между евреем и христианином не делалось. Оправдывали того, кто был прав и наоборот - осуждали неправого. Еврей ещё при этом имел привилегию: если приговор крестьянского суда его не устраивал, он мог с ним не считаться и перенести дело в мировой суд.

В то время крестьяне вообще имели уважение к евреям и даже считали их за очень благородных. Тогда не слышно было, чтобы крестьяне учиняли насилия над евреями. А если что-то такое и происходило - то это был редкий случай. Власти за этим также следили.

Мы постепенно успокоились, хотя шум и крики каждую ночь разрывали сердце.

Много огорчений я имел от скотины, тонувшей в лесной трясине. Не проходило дня, чтобы корова не провалилась в болото. Дело это было опасное. Корова по природе - "слабое создание", и пролежав пару часов в трясине, она простудится и околеет.

Каждый день прибегал пастух с одним и тем же:

"Хозяин, корова в болоте!..."

Приходилось созывать мужиков, чтобы вытащить корову. Случалось и самому вместе с крестьянами лезть в глубокое болото, что отнимало здоровье, и еле вытащив одну ногу, благодарить Бога. Вытащишь одну - провалится другая.

Много раз мы находили коров полумёртвыми. Разводили огонь из сухих веток и, вытащив из трясины, согревали их, пока не встанут на ноги.

И так я каждый день возился со скотиной.

Потом началась история с продажей отдельных частей луга -

пятидесяти кусков земли, лежащих в сырой части леса, которые приходили покупать окрестные крестьяне. Меня водили туда-сюда и подолгу по сырому лесу: одна нога в болоте, другая - снаружи, и я возвращался домой полумёртвый.

От таких мотаний я заболел, стало болеть сердце, и приходя домой, я валился на диван. Я еле выдерживал, и жена часто говорила:

"Давай бросим всё это Кошелево и уберёмся, пока живы".

Иногда мне приходилось ездить в окружающие местечки, докупать на базарах нужные в хозяйстве вещи. Домой случалось возвращаться ночью, кругом выли голодные волки, и чтобы отогнать грустные мысли, я кричал, стучал и звонил в колокольчик. Безлюдье, заброшенность меня совершенно убивали.

Люди в деревнях ездят в свободное время друг к дугу в гости. Но люди в деревнях не живут среди лесов, вокруг у них - простор, вечером приезжают в гости до темноты, а потом уезжают домой; но сюда ко мне никто не приезжал, и я - ни к кому. Проклятый лес всем закрывал дорогу.

Я совсем забросил свои учёные книги, стал настоящим диким ешувником со всем, что им свойственно, и проводил воскресенья и нееврейские праздники с крестьянами. На сердце у меня было тяжело и горько, но это ладно. Тревожило меня, что дети мои себя похоронят в такой пустыне. Я вспоминал об удовольствиях и свободах Макаровцев с их милыми сердцу друзьями и знакомыми, и кровь моя так закипала с досады, что я сам себя был готов разорвать на куски.

Зачем я оттуда сюда уехал?

Отношения мои с кошелевскими крестьянами были неплохими. Я никогда их не штрафовал из-за причинённого их коровами убытка. Но всё же я был еврей - заброшенный к ним еврей - а их - много, много гоев...

Я им всячески угождал - одалживал, когда им было очень нужно, деньги, часто им оказывал услуги и более или менее с ними уживался. Но крестьянин оставался мне чужим... И даже больше, чем чужим... И это - несмотря на всё, что сами они считали добром, человеческой добротой.

Пошёл я как-то в нееврейский праздник осмотреть в лесу свои луга. Вижу - пасутся во ржи два быка, а пастух Антон, парень лет 20-ти, самый большой силач в деревне, сидит себе спокойно со своим свистком, словно его не касается. Взял я и срезал ветку с дерева и погнал быков к себе домой. Антон же их погнал к себе в деревню. Я их гоню в усадьбу, а он - в деревню. Я рассказал старшине, что Антон не дал мне забрать его быков, причинивших

мне ущерб. В воскресенье в канцелярии состоялся суд над Антоном, которого приговорили к 20-ти ударам розгой.

Зачем Антону было вредить доброму хозяину? Ко мне пришла его семья во главе с братом Павлом-старостой, упали мне в ноги, чтобы я его простил. И когда я простил его, это они очень оценили. Но совсем хорошо ко мне относиться они не могли. Мне казалось, что они всё время думают об одном: что я здесь делаю среди них? Как я сюда попал? Почему захватил их поля? Что я, еврей, кручусь здесь - среди их чёрных, волосатых лиц и мрачных, сердитых, голодных глаз?

Во время жатвы вся деревня взялась за мой урожай. Они хотели у меня раньше кончить, и это - большое дело. Стебли ржи стали совсем сухими, и надо было как можно быстрей её сжать и тут же назавтра отвезти копны в сарай, чтобы зерно не высыпалось в поле. За десять дней у меня уже была сжата вся рожь и вывезена в сарай.

Летний урожай ржи в тот год был обильный, и старые крестьяне говорили, что такого не припомнят. Зато ячмень, овёс, картофель, горох, гречка и все огородные овощи - не удались. С сорока акров посеянного овса я даже не имел достаточно для корма моей паре лошадей - одни мелкие чёрные зёрна, - и для посева на будущий год я должен был всё купить.

Только сена я имел очень много - может, 400 возов. Но что толку, если плохо, уныло и нудно, если я себе не нахожу места?

И опять, и опять я вспоминал добрые, милые и весёлые Макаровцы.

Глава 13

Лес горит. – Ужасный пожар. – Я в растерянности. – Мы спасаем домашние вещи.– Выгорело пятьдесят десятин леса. – Лес горит снова. – Я бегу со всех ног за тушителями. – Староста. – Мои планы в области сельского хозяйства. – Новая беда.– Обвалилась крыша. – Ещё большие несчастья. – Ребёнок выпал из люльки. – Болезнь моей жены. – Болеют дети. – Бегаю туда-сюда. – Яков-Йосл.– Сон еврейки.– Караул!!! – Завещание и волосы. – Мой напев.

Однажды, во время жатвы овса, я стоял возле косарей, погружённый в свои мысли. Был среди косарей очень злой, нехороший крестьянин Фёдор, в котором я всегда чувствовал особую к себе ненависть. Вдруг этот Фёдор оборачивается и издаёт радостный крик:

"Усадьба горит!"

Я побледнел. Со стороны усадьбы поднимался к небу дым. Я бросился туда со всех ног вместе с пятью крестьянами. Чем ближе я приближался к усадьбе, тем гуще становился дым, накрывая лес, как тёмным платком. Встретила меня, ломая руки, жена:

"Лес горит!"

Огонь приближается к усадьбе, и вот-вот охватит соломенные крыши.

А я совершенно не знаю, что делать, как тушить такой большой пожар в лесу, и совсем не знаю, на каком я свете. Крестьяне сказали, что усадьба - под угрозой, так как в лесу полно сухого дерева. Четыре года рубят в лесу деревья для отправки в Данциг. Два месяца не было дождя. Ветки и мусор высохли - прекрасное горючее!

Пятнадцать лет назад тоже сгорела усадьба. Там было два завода - водочный и пивной. Случилось это от начавшегося в лесу пожара. Чтобы потушить такой большой пожар, нужно двести человек.

Тут я увидел, как затаённая ненависть крестьян ко мне просачивается ядовитой струёй.

Чужой я им был, совсем чужом. Чужая кровь.

Я попросил жену с помощью крестьян сносить в фургон домашние вещи, а сам схватил лошадь и побежал звать мужиков на помощь. Но ведь лето, в деревнях ни души. Малые - пасут, большие - косят для себя и для хозяина.

Скачу отчаянным галопом дальше и встречаю крестьянок,

косящих рожь. Окликаю их и прошу бросить косьбу и быстрей бежать тушить лесной пожар. Я им за это спишу косьбу, которую они мне должны за взятую у меня под коноплю землю. Каждая крестьянка брала у меня участок, за который мне причиталось по пять косарей или других работников.

Так я пробежал вёрст пять по полям, прося каждого о милости: бегите, мол, помогите потушить этот ад. Бегу и всё время оглядываюсь: вижу, что дым - во весь лес, огня не видно, только - плотный красный дым, смешанный с огнём, достигает неба.

У меня сжалось сердце. Не до того уже было, что я всё потерял - но я оставил жену с двумя малыми детьми при таком большом пожаре, среди ненавистников, ей, конечно, станет дурно, и некому будет привести её в чувство. Всё же мне удалось убедить всех встречных крестьян и крестьянок бежать и тушить огонь, а сам я поехал дальше.

Вернувшись домой, я увидел, что дыма стало меньше. Как видно, пожар тушили. Крестьяне не особенно старались - я ведь подарил им работу, что мне теперь полагается!

Сгорело пятьдесят десятин леса, неподалеку от усадьбы; иные деревья ешё тлели. Тушили мужики длинным шестом: били по мусору шестом и так глушили огонь.

Сухие ветви на деревьях сгорали, но не сами деревья. Я не уходил, пока не потушили. Всего было несколько сот человек, крестьян и крестьянок.

Когда прошла опасность, я засчитал крестьянам работу четырехсот человек. Посторонним обещал дать каждому по два пуда сена.

На этом дело не кончилось. Лес нельзя потушить за один день. Назавтра он снова принялся гореть. Снова пришлось бегать за работниками, просить, чтобы тушили пожар.

И так горело почти каждый день. Я забросил хозяйство и бегал каждый день за работниками. Я знал, что если крестьян зовут тушить пожар, они должны прийти. Но заставить их нельзя, и их помощь стоит денег.

Вообще-то пожар в деревне - страшное пугало. Огня там очень боятся.

Помню, я однажды сидел на траве рядом с косцами и закурил папиросу. Бросил горящую спичку, и трава загорелась так быстро, что я едва успел затоптать огонь. И если бы не затоптал - он бы мгновенно распространился на несколько вёрст вокруг.

И я понимал, что любой щенок - пастух или кто - может в минуту поджечь усадьбу.

Всю вторую половину лета до середины осени мы жили в

смертельном страхе. Для меня это была катастрофа, которая из меня всю кровь выжала. Я ждал с замиранием сердца лесных пожаров и был очень несчастен.

Старшине я обещал хороший подарок - пять возов сена, и писарю - четвертной, чтобы в случае, если я обращусь за помощью, они мне тут же прислали крестьян.

Кроме того - я приготовил и раздал водку.

Как-то в пятницу днём снова загорелся лес. Пожар быстро и с силой распространился. На мою удачу, был праздник. Я побежал по тропинке прямо в канцелярию писаря. Старшины, проживавшего в моей деревне, дома не было. Пришёл в канцелярию - писаря нет. Мне сказали, что он у любовницы, отсюда за две версты.

Я побежал туда. Дверь заперта. Стучу, стучу - никто не отзывается. Спрашиваю соседей, здесь ли писарь, отвечают, что он здесь со своей любовницей и не откроет. Я принимаюсь с силой стучать в дверь, он выскочил из комнаты, собрался драться, но, ощутив в руке червонец, который я ему сразу сую, убирает руки. Ему очень не хочется оставлять любовницу и бежать за крестьянами.

"Я болен...",- врёт он.

С большим трудом и при умеренных угрозах кое-как его уламываю. По пути собираем триста крестьян, и я покупаю двадцать горшков водки с селёдкой и сыром.

Пока я возвращаюсь - уже вечер, и огонь охватил весь лес, и, на моё счастье, перекинулся на другую сторону от усадьбы. Крестьяне сказали, что такой большой пожар они потушить не смогут и будут охранять усадьбу от огня. Посоветовали послать к женщинам за полотном, ими самими вытканным. Полотно надо намочить в воде и постелить на крыши усадьбы.

В надежде на хорошее вознаграждение принесли из всех окрестных деревень бочки, вёдра и кадки и замочили полотно. Триста крестьян приготовили шнапс и разлеглись на траве, ожидая, что огонь подойдёт к усадьбе. От одного их ожидания пробирала дрожь. Вокруг - адский огонь, а они лежат спокойно в ожидании водки после пожара. Я смотрю, как он приближается, а крестьяне молчат. Сердце моё дрожит, голова пылает. Я взбесился:

"Чтоб ты знал, - крикнул я в отчаянии старшине, - я навсегда уезжаю из усадьбы и оставляю её полностью на твою ответственность. Помни, что ты сгниёшь в тюрьме, а Шемет будет терзать твоих внуков!"

Старшина, наконец, стронулся с места и крикнул народу:

"Идём тушить!..."

Пошли в лес, нарезали длинных веток, и триста человек стали в ряд против огня и принялись бить ветками. Медленно наступая, ряд движется вперёд, и глушит, глушит огонь. И так всю ночь шли и били ветками, пока совсем не затушили огонь, который отступил дальше.

Огонь стал такой большой и высокий, что во всех окружающих местечках было видно, и никто из этих окружающих местечек в эту ночь не спал. Стояли всё время на улице, как мне рассказывали, и смотрели на море огня. Многие знали, что это горит еврей и оплакивали его несчастье.

В шесть часов утра огонь потушили, я снова послал за водкой и селёдкой. Люди жадно ели и пили.

В восемь часов утра прибыл асессор из Березы[26] с шестьюстами крестьянами. Делать ему было нечего, но деньги у меня он взял. Как можно отпустить асессора, не сунув в руку денег? Или наоборот: как может асессор отпустить еврея, не взяв денег?

Мужики меня утешили, что больше лес гореть не будет, поскольку вся трава выгорела. Нет травы - нет опасности пожара.

И так и было.

Покончив с лесными пожарами, от чего я до времени постарел, снова принялись за работу. Я решил завести побольше скота, так как сена было вдоволь. Будет много навоза - смогу хорошо удобрять и обрабатывать землю и надеяться на лучшее.

И я принялся выполнять свой план: получать много навоза и удобрять свои поля. В конце лета я дал знать во все окрестные местечки, что беру на зиму коров. За пять рублей беру корову или быка. Из соседних местечек доставили семьдесят штук. Ко мне также явился помещик и дал на зиму сорок быков, заключив контракт на пять рублей за штуку. И тут же заплатил за это двести рублей. В контракте было написано, что в случае смерти одного из быков - с меня пятьдесят рублей. Всего оказалось у меня сто десять штук, не считая моих собственных, которых было двадцать с чем-то.

Но уже в начале зимы, я спохватился, какую я тут наделал глупость. В начале зимы цена на сено была до тридцати копеек за пуд. Во сколько же обойдётся мне пуд навоза? Мне лучше было продать сено и просто выручить на этом до двух тысяч рублей, чем брать на прокорм столько ртов. Надежды улучшить с помощью навоза почву так и так могут исполниться только через несколько лет.

План этот, может, годится для такого, как Розеблюм, живущего в княжеской усадьбе. Но я - с горькой своей жизнью в пустыне, среди огня, волков и ненавистников-крестьян - я так и

так здесь долго не останусь. Что мне это даст? Но с этим уж ничего не поделаешь, как и с прочими совершёнными мной глупостями. И от этого щемило сердце.

Когда стали вывозить навоз из коровника, обнаружили под навозом большущих змей. Крестьяне, которые очень боятся змей, подняли крик, сбежались с дрекольем и их перебили. Больше шестидесяти огромных змей - иные по полтора аршина.

Змеи на меня тоже плохо подействовали.

Зимой, когда работы мало, а ночи долгие, я снова заскучал по книгам, и на меня напала большая тоска. Ночи - долгие, днём - тоже нечего делать - с ума сойти. И я поехал в Кобрин, за шесть вёрст, к сыну реб Йоше, взять что-то почитать. Взял две книги, за два дня прочёл - и снова нечего делать. Но Бог меня своими несчастьями не оставил.

Сидя дома в Хануку, вдруг слышу - что-то сильно и тяжело гремит, вроде грома. Подбегаем все к окну и с ужасом видим, к что крыша большого коровника, где стоят все коровы, обвалилась. Не представляю, как мы все тогда не умерли от страха.

Впопыхах бежим к коровнику. Сердце тревожно бьётся. Но вся скотина цела. Как видно, услышав, что крыша трещит, коровы инстинктивно прижались к стенам. Крыша сломалась посредине. Мы не умерли, но жена моя тогда заболела от страха.

Крыша сломалась под тяжестью лежащего на ней снега. Тогда был большой снегопад, а я не знал, что снег надо с крыш сбрасывать.

Хоть крыша не задела ни одной коровы, но мне из-за неё изрядно досталось: коровы совсем не выносили холода. Пришлось их лучше кормить - почти одним сеном, что обошлось мне вдвое дороже и что, к большому моему неудовольствию, дошло до шестидесяти копеек за пуд.

Крестьянам пришлось продать своих коров - их нечем было кормить. Купить скотину было можно буквально за полцены. Ту, что стоила прежде тридцать, сорок рублей, продавали в этом году за восемь-девять рублей, а двухнедельного телёнка - за восемь злотых.

Перед Песах ко мне приехали окружающие крестьяне покупать сено. Я им отказал. Никакого сена у меня не было, только по углам лежало гнилое, замёрзшее сено из стогов. Но для них и это был товар, за который они мне платили по двадцать копеек за пуд. Такое было дрянное сено. Я за это выручил сто пятьдесят рублей.

Если бы не моя глупость с навозом, я бы мог тот год счастливо прожить. Другой на моём месте съел бы себя заживо от огорчения, что своими руками потратил такое состояние. Но я

переживал не из-за денег, которые я мог здесь заработать, а из-за своего невезенья, из-за того, что всё у меня "маслом вниз", навыворот, плохо, глупо, всё насмарку.

Не имея что делать, я размышлял, как пережить долгую зиму безо всякой работы, когда никто не приходит ко мне и я - ни к кому - и тут Господь снова возымел ко мне жалость, что называется, и послал новую беду, только ещё большую.

Жена моя заболела тифом после того, как вытопила шмальц из восемнадцати гусей и засолила много мяса. Сразу после неё слегли все трое моих детей.

И словно этого мало - самый маленький выпал из люльки, висящей, по тогдашнему обычаю, под потолком на верёвках. Люлька висела высоко над полом и ребёнок упал и ушиб возле глазика лобик, который сильно опух. Больной тифом ребёнок страшно мучился.

Меламед и прислуга, жившие у нас, бежали из усадьбы домой из страха перед тифом. Я остался совсем один. Хоть и был при нас пастух со своей женой, но у них достаточно было работы со скотиной, и я их в глаза не видел.

Ни в одном из окружающих местечек не было доктора, только убогие фельдшера. В трёх верстах от Кошелева, в Берёзе, был, правда, фельдшер-специалист по имени Яков-Йосл, которым я и пользовался. Отправляясь за ним, я был вынужден оставлять всех моих больных на маленькую глупую шиксу.

Я был очень плаксив и по дороге к фельдшеру заливался всю дорогу горькими слезами. Хорошо ещё было, если я заставал фельдшера дома. И как падало моё сердце, если мне говорили, что он - на вокзале, где у начальника станции лежит больная сестра. Я, запарившись, бегу на вокзал.

"Яков-Йосл,- плачу я крупными слезами, - будь милостив, едем в Кошелево, моя жена и дети умирают! Будь, Яков-Йосл, милостив!

Но Яков-Йосл не трогался с места. Он должен, говорит, ждать до двенадцати часов. Откуда-то приедет доктор. Надо быть на месте, когда явится доктор. Хоть плачь в голос - не поможет - начальство с ним не расстанется, как с каким-то сокровищем.

Чего стоят слёзы. Я телеграфировал докторам, а однажды послал извозчика в Кобрин за доктором, с которым вместе должен был приехать и Яков-Йосл. Я также искал какую-нибудь еврейку для ухода за больными.

Заполучить еврейку, которая согласилась бы со мной ехать, стоило мне больших мучений, так как во всех окрестных местечках было известно, что в Кошелеве из-за болот свирепствует тиф.

Я усадил еврейку в коляску и побежал в лавочку чего-нибудь купить. Еврейка в коляске уснула и во сне увидела не больше не меньше, как себя, умирающую в Кошелеве. Встала не жива, не мертва, и тут же бросилась бежать домой. Подхожу к бричке - нет никакой еврейки! Еду домой без фельдшера и без еврейки.

Приезжаю домой и застаю жену и детей, лежащих в жару, а маленький лежит с опухшим лицом и страшно стонет. На столе белеет какая-то бумага. Что такое? Жена написала завещание в типично женском стиле и языке. Заглядываю туда.

"Гвалт!!!"- Кричу я громко. В завещании - она не больше не меньше, как указывает, на ком я должен жениться.

"Гвалт!!!"

Кроме завещания, жена ухитрилась остричь волосы - пригласила кого-то, и тот остриг ей волосы, так как она не хотела умереть грешницей - замужняя женщина не должна носить волосы.

На столе белеет завещание, а у постели жены валяются её красивые чёрные волосы.

Я крутился, как помешанный, как сумасшедший. "Что будет?" - Сверлило в голове.

В этом ужасном настроении сочинил я грустный и печальный напев и им укачивал больного тифом, лежащего с высокой температурой выпавшего из люльки ребёнка. Даже сегодня, припомнив этот напев, я чувствую, как холод мне пронизывает всё тело.

Так я качал ребёнка, напевал и всё время подбегал к другим больным, которые стонали каждый в своём углу.

Вечером приехал фельдшер Яков-Йосл с доктором из Пружан, а часа через два - доктор из Кобрина.

Но докторам нечего было делать. Что они могли поделать с тифом? Посидели два часа, поели шкваркок, попили чаю - что ещё? Я дал каждому по сорок рублей, и они с миром уехали. Не вызвать доктора - было страшно. Поэтому я вызвал, но поскольку помочь они не могли, это оказалось совершено лишним. Ничего больным они не прописали. Велели давать какую-то мелочь, уже не помню что. Помню только, что самовар не переставая кипел. Я всё время плясал вокруг больных и укачивал ребёнка своим напевом.

Я видел, что кроме меня, помочь больным некому. Я был один. А есть и пить надо - чтобы беречь силы. Чтобы на ногах держаться. Скрепя сердце я ел и пил.

Съел пару десятков засоленных гусей и две больших миски грибов. Ел механически, как машина. Не мог оторваться. Но совсем не спал, абсолютно. Ребёнок не давал. Всё время ныл и

стонал. Всю ночь я сидел и качал ребёнка, и страшные мысли сверлили мозг.

У жены был сильный жар. По ночам она вскакивала с кровати и кричала:

"Иду в лес!"

Приходилось хватать её за руки, а она изо всех сил рвалась в лес. С большим трудом укладывал её в постель, держа одной рукой, чтоб не соскочила, не вырвалась, а другой - качал люльку.

Но я не выдерживал. Было слишком тяжело, слишком ужасно.

И я телеграфировал в Киев. Но никто оттуда не приехал. Также и из Каменца. Меня бросили. Обо мне забыли. И я с болью думал о бабушке. Была бы жива бабушка Бейле-Раше, она бы тут же прилетела. Ничто на свете её бы не удержало, и уж наверно она бы привезла кого-то из детей мне на помощь и в утешение.

Глава 14

Стало получше. – Гости.– Отец с сестрой.– Дед.– Папиросы.– Шум. – Договор с крестьянами. – "Братцы, идёт!" – Черняхово.– Помещичий пёс. – Жена пана Шемета.– Дочь.– Дочь бежит с любовником. – Как пан Шемет сделал себе состояние. – Скандал с дочерью. – Она просится домой.– Тяжёлая сцена у ограды. – Конец Шемета, его семьи и состояния.

До сих пор не понимаю, как мог я выдержать целый месяц такого ужаса - без сна, среди тяжёло больных, в пустынном волчьем углу.

Далёкие и немногочисленные соседи боялись приехать ко мне в усадьбу навестить больных, даже мужики сторонились моей усадьбы. Что такое тиф - они, как видно, понимали. Была тишина, кругом стояло тяжёлое, плотное, полное угрозы молчанье.

Жене и детям стало немного лучше, но потом опять вернулась температура, а самый маленький мне разрывал сердце своими стонами. Но самый маленький скоро умер, и ещё скорее его забрали - чтобы больные не увидели, не узнали.

И как раз, когда больным стало лучше, стали откликаться на мои телеграммы, и явились первые гости. То есть, как раз тогда, когда они были мне не очень нужны. Приехали втроём - отец и сестра с братом. Но я был такой усталый, что у меня в голове мутилось, и оставив всё на гостей, я только и делал, что спал.

Отец сразу уехал, а остальные остались на две недели. Потом приехал в гости дед, и меня до сих пор огорчает, что я ему не угодил специально купленными для него папиросами.

Дед курил миллеровские папиросы - за десять копеек десять штук. В то время это были почти самые дорогие папиросы, которые курили богачи. Конечно, они были лучше нынешних, ведь табачные листья, стоившие тогда восемьдесят рублей пуд, нынче стоят четыреста. Также и налог тогда был меньше.

Меня убедил мой лавочник купить сто папирос за рубль, по его словам самые хорошие - много лучше миллеровских. Я себя дал уговорить и их купил. Но дед просто отшатнулся, попробовав первую.

Это меня как-то глубоко и тяжко огорчило. Дед у меня, женатого, - первый раз в гостях, а я ему купил плохие папиросы!

Потом все мои гости уехали, и я остался в прежней тишине, в прежнем молчании. Но это мне больше не мешало. Наоборот - покой мне был сладок, приятен, я очень, очень в нём нуждался, и

в семь - восемь часов вечера шёл спать и спал со вкусом и без просыпа до восьми-девяти часов утра.

Я всё никак не мог прийти в себя.

Через несколько недель началась работа в поле. Мне надо было купить все семена для посева - хозяин есть хозяин, ничего не поделаешь. Надо пахать, бороновать, вывозить навоз. Но тут у меня была просто нужда во всём. Чтобы вывезти навоз, требовалось сто телег - так же, и ржи для посева у меня не было.

Болезнь, домашний госпиталь вытянули из меня 500-600 рублей. Ловчить и крутиться в денежных делах, как делают в нужде другие евреи - я никогда не пытался. Я даже не знал, как просят кого-то о беспроцентной ссуде. А тут- приходится покупать овёс, ячмень, горох и картофель - а купить не на что.

К моей тысяче кошелевских казней прибавилась ещё одна. В конце зимы стали телиться коровы, и из-за дороговизны сена скот так подешевел, что на телят совсем не было покупателей. Кому теперь нужны телята? Хоть бери и отдавай почти даром. Пришлось мне самому заколоть всех телят, и даже хуже - самому и съесть. Горе такой еде!

Постепенно, постепенно прошла зима. Тяжело и лениво двигалась, словно против воли, словно сопротивляясь. Но у весны - сила, и зима ушла прочь, как тяжкий сон, после которого облегчённо вздыхают.

После Песах я снова, как в прошлом году, заключил договор со всеми жителями деревни. Но в этом году я не хотел отдавать деревне большой луг за ту цену, как в прошлом. Я хотел сто двадцать рублей за год вместо ста, и мы никак не приходили к согласию.

Мне сообщили, что все крестьяне выгоняют по ночам лошадей на луг, и те едят мою траву. И как-то раз я в двенадцать ночи поехал посмотреть, правда ли это. Надо быть на стаже - ведь это пахнет большим убытком.

И придя, встретил полную деревню крестьян, вместе с лошадьми. Пасут себе во всю, а тот самый Фёдор, дрянной мужик, о котором я уже писал, во всё горло орёт:

"Братцы - идёт!"

Все вскочили на лошадей и быстро скрылись. Я остался стоять, как выпоротый. Только назавтра поехал в Пружаны, за пять вёрст от Кошелева, к мировому судье с иском против всей деревни, двадцати семи хозяев, которые пасут своих лошадей каждую ночь на моём лугу.

Крестьяне тут же получили повестки: явиться в Пружаны на суд. И уже назавтра ко мне явились все мужики уладить дело о луге. После долгих переговоров дали мне сто десять рублей плюс

двадцать семь косарей. Не знаю, откуда взялось во мне мужество, куда делся страх и ужас перед большой, злой и чуждой массой мужиков? Иные мне позже озабоченно замечали, что игра эта даже опасна: такой, как Фёдор, может в порыве ненависти просто убить на месте. Надо быть осторожным.

Летние работы прошли на этот раз лучше. Больше было порядка, чем в прошлом году.

Мне это доставило удовольствие лишь на минуту, и снова я стал тосковать по Хаскале, по книгам, и снова мне стало жалко своей молодости, пропадающей среди мужиков.

Ну, что с того, что я здесь буду иметь заработок, в этой пустыне? Что дальше? И я останусь невеждой, и дети - грубые, неотёсанные. И я потихоньку про себя решил - лучше остаться бедняком в городе, чем быть богачом в пустыне, среди волков.

Как назло, лето у меня прошло благополучно, и я себе признался, что был этим огорчён. И до такой степени огорчён, что пожалел, что отказался от должности меламеда в Варшаве. Караул - большой город!

Я всё это обдумал - и перестал заботиться о том, что будет полезно для жизни в Кошелеве. Совсем выбросил Кошелево из головы. Да - надо побыстрей отсюда выбираться

Четыре раза в год я приезжал в Черняхово к предводителю Шемету и платил ему за съём усадьбы. Возле помещичьего дома, внешне выглядевшего просто, но внутри - очень богатого и нарядного - лежал очень сердитый пёс. Имея дело к предводителю, человек сначала шёл к еврею-арендатору, и тот уже посылал своего ребёнка провести гостя до дверей "покоев", поскольку все очень боялись пса.

Прибыл я так однажды и зашёл сначала к арендатору, чтоб тот проводил меня к помещику, но не застал никого дома. Я, однако, не хотел лишний раз приезжать и попытался пройти сам. Пса совсем не было видно. Но стоило мне подойти ближе к дому, как он откуда-то выбежал и схватил меня за руку своей большой пастью. Нижние окна дома были в этот момент открыты, я вскочил в окно и свалился прямо на стол.

На мой крик явилась помещица. Помещице - молодой, красивой и живой женщине, понравилась моя ловкость: выхватить руку из пасти пса - было чудом пополам с геройством, и она тут же приказала подать чай со вкусными вещами и долго держала у себя.

С тех пор жена Шемета, отправляясь на прогулку, заезжала ко мне в усадьбу, и я был у неё в большом фаворе.

У этой молодой женщины была очень хорошенькая дочка, которую скорей можно было принять за её сестрёнку.

Как у большинства тогдашних помещиков, конец Шемета был печальным. А началом конца была эта дочка. Несмотря на её юность, к ней уже сватались, и очень сильно. К тому времени ездил к ним молодой помещик из Слонимского уезда. Богатым этот молодой помещик не был, зато - был мотом и частично также и добытчиком - получал подряды из Петербурга.

Дочке Шемета он привозил из Петербурга дорогие игрушки, когда ей было только 12-13 лет. Эти необыкновенные игрушки стоили больших денег, и ими он постепенно привлёк сердце молодой панны.

В пятнадцатилетнем возрасте и при её необыкновенной красоте, стали к ней свататься большие помещики. Но молодой помещик, которого звали Лизанский, купил её сердце с детского возраста своими богатыми и дивно прекрасными игрушками из Петербурга. Сейчас, когда она стала старше, он ей привёз новый подарок - четырёх маленьких лошадок, стоивших шесть тысяч рублей, и маленькую каретку со сбруей из серебра и золота. Молодая панна очень любила лошадей. Лошадки с кареткой её просто очаровали.

Старый Шемет такого молодого зятя не хотел. Старику было важно родство, богатство, положение, но молоденькой дочке очень нравился последний подарок, и они договорились о похищении, о побеге. А потом - дело будет сделано, и никто их разлучить не сможет.

И как-то в пятницу он пришёл к Шемету в гости, остался допоздна и договорился со слугами, каждому из которых дал по сотне, чтобы они молчали, сделали бы вид, что ничего не знают, когда он похитит ночью юную панну. И так и было.

В два часа ночи, когда все спали, кареты их уже стояли с другой стороны ворот, они вместе выскользнули и уехали в Слоним. Она оставила письмо родителям, приглашая назавтра в десять утра в Слоним прямо к ним на свадьбу.

Старик встал, как всегда, очень рано и выпил чаю. В десять часов встала Шеметова. Но когда через какое-то время дочь не вышла из спальни, это им показалось странным. Тут они спохватились. Нашли на столе письмо. Шеметова падала в обморок и плакала. Лизанский им как зять не подходил. Ко всему прочему он, как принято было между молодыми помещиками, был сверх головы в долгах. Это для них был ужасный удар. Старый Шемет, прямодушный помещик старой закалки, рассказывал бывало, как он "сделал состояние": отправлял своих крепостных на заработки в Варшаву и в другие места за восемь рублей месяц, а деньги клал в кассу. Например, посылая на работу крестьян в Варшавскую цитадель, он давал одному из них

кнут - бить ленивых работников.

"И для кого я старался, копил деньги? - Сетовал он. - Всё для дитяти, для дитяти..."

По обычаю он послал Лизанскому письмо, в котором писал, что лишает её наследства, оставляя всё детям своего брата и ни гроша дочке.

Лизанскому это не понравилось. Денег у него не было. У окрестных евреев он очень много назанимал и как раз предвкушал, как женится на единственной дочке очень старого и очень богатого Шемета. И все деньги окажутся у неё в руках.

Естественно, что евреи одалживали как могли широко. Но когда стало известно о письме, одалживать перестали, и Лизанский остался без гроша.

В конце концов дочка написала отцу письмо, в котором отчаянным тоном просила прощения. Матери она написала отдельно, ожидая, что мать, читая письмо, конечно, расплачется, не посмотрит на старого, сурового отца и приедет к ней мирится: матери всегда уступчивей.

Единственная дочь, однако, сильно ошиблась. Отец ничего не хотел о ней слышать, и мать также была не мягче.

Мать, в сущности, не так беспокоило то, что дочка вышла замуж за нищего, как то, что она сама лишилась удовольствий. Ей было жаль помпы, шика - что было бы, выйди её дочь замуж за графа. Она бы весь свет перевернула! Она бы хотела, например, поездить вместе с дочерью по большим европейским городам: Варшаве, Берлину, Парижу, Лондону, Вене; сшить там дочери гардероб; и так гулять за границей целый год. Кстати, и себе могла бы сделать дорогих платев и кокетничать при дочери с молодыми людьми.

Итак, письмо дочери никакого успеха не имело. Никто с ним не посчитался.

Но оказавшись в ещё большей нужде и попросту не имея, на что жить, дочка послала второе письмо, в котором писала, что приедет домой и от ворот поползёт на четвереньках до дверей дома и будет целовать ноги отца и матери, чтобы те ей простили её великий грех.

Получив письмо, Шемет строго приказал слугам, когда она приедет - чтобы никто не смел открыть ворота и её впустить. А дочери сообщил, что не желает её больше знать, и если она приедет - не пустит её в дом.

Молоденькая дочка, никогда не знавшая лишений, не могла выдержать нужды и приехала домой несмотря ни на что. Она была уверена, что отец её простит.

По приезде её в усадьбу слуги ей отказались открыть ворота.

Она их просила быть милостивыми и пустить её в усадьбу, обращалась со слезами к старому слуге, который её вырастил, носил её младенцем на руках и прежде очень её уважал. Но сейчас, плача вместе с ней, он всё же её не впустил, строго сказав: "Нет!"

Но Шемету передал, что дочь заливается слезами, прося как о милости её впустить. На что Шемет велел передать, что если лакей пустит панну, он ему палкой разобьёт голову.

С отчаяния, что с прислугой ничего не получается, она решила перелезть через забор.

Стала перелезать в своём длинном платье, несколько раз падала, но с ещё большей горечью и отчаянием снова изо всех сил карабкалась, разрывая платье и царапая руки и ноги о гвозди забора, и влезла на верхушку.

Но это было только полдела. Спуститься с верхушки на землю у неё, измученной и разбитой, не хватило сил. Это была ужасная сцена, которую только скупой и дикий помещик мог выдержать.

Не в силах спуститься, она бросилась с высоты на землю.

И если бы не крестьяне, пришедшие посмотреть, как паненка сползает, окровавленная, с забора, и инстинктивно протянувшие руки, чтобы её подхватить, - она бы упала на землю и разбилась.

Но и так она сильно ушиблась и от страха лишилась чувств. Поднялся шум, и тут же явилась мать. Дочь привели в чувство и доставили в дом, уложив там в постель, как и мать, которая впала в полное расстройство.

Но Шемет сидел себе с папиросой во рту и не двинулся с места. Сказал, что даже если дочь умрёт - он не придёт к ней на похороны. И что он бы даже хотел, чтобы она умерла.

Когда дочери с матерью стало легче, они решили идти к отцу просить прощения. Пришли, и дочь со страшными воплями упала отцу в ноги. Тут уже и мать заплакала и заявила, что если Шемет не простит дочь, она его тоже покинет. Пусть он останется один. С бандитом она жить не хочет. И долго с ним препиралась, пока он не согласился помириться. Они поднялись с земли, и наступил мир.

Через некоторое время мать поехала с дочерью в Варшаву и прежде всего сделала ей гардероб за десять тысяч рублей. Мужа, однако, в именье не пустили. На это Шемет ни в коем случае не соглашался, и дочь время от времени ездила в Слоним.

Года через два Шемет умер. Мать сошла с ума и тоже быстро умерла. Дочери досталось большое, уникальное состояние Шемета, которое её муж, по обычаю, вскоре промотал, спустил, расшвырял. Кончили они оба, конечно, плохо, но как - я даже не знаю, хоть могу предположить. И наверное не ошибусь.

Глава 15

Селецкий "губернатор". – Меламед. – Я получаю "хорошего" меламеда. – Он совсем не знает древнееврейского языка.– Антополь. - Второй меламед.– Первый не хочет уезжать. – Экзамен.– Шлоймеле. – Чтение Гемары нараспев меня радует. – Я стал заниматься. – Страх перед дополнениями. – Об учении вообще. – Конторщик. – Как надо учиться. - Моя любовь к Шлоймеле. – Малечский раввин. – Лето в поле. – Шлоймеле набирается сил. – Осень – Шлоймеле уезжает.– Моя тоска по Шлоймеле.

Второй год был дождливым, и опять было много сена. На зиму я уже не взял коров, как в предыдущий год, но так как мне очень везло, я выручил в этом году по десять копеек за пуд сена, получив от всего дела большой доход.

На Суккот я поехал в Селец к "губернатору". Не бойтесь, никакой это был не губернатор, а простой еврей, которого так звали за его мудрость, влияние и широту. Приехал я к нему для того, чтобы он мне достал, как говорят в Литве, какого-нибудь хорошего меламеда, хорошо знающего Танах и грамматику древнееврейского языка. Я с самого начала хотел поставить обучение детей, как полагается.

"Губернатор" послал своего зятя в бет-мидраш, чтобы найти там вместе со мной хорошего меламеда. В бет-мидраш мы пришли во время послеобеденной молитвы. Как это бывает в маленьком местечке, где в глаза не видят никаких гостей, в особенности, чтобы с гостем пришёл зять "губернатора, все почтительно встали, со всех сторон нас осмотрели и навострили уши, чтоб услышать, что гостю тут нужно.

Среди собравшихся я заметил прекрасных молодых людей с блестящими глазами, которые, как видно, как в былые времена, были глубоко поглощены занятиями.

Я рассказал, что ищу меламеда, знающего Танах и грамматику. Пожилой даян[27], тоже находившийся среди собравшихся, отозвался, что у него есть для меня меламед, какой мне требуется.

"Вон тот молодой человек, - показал даян на одного из собравшихся, - может быть у тебя меламедом. Способный, очень способный молодой человек. Возьмите, возьмите его"

Я посмотрел на молодого человека, который мне с первого взгляда не понравился: страшно высокий, ширококостный, с

большими грубыми руками - настоящий извозчик.

Но раз даян его рекомендует - а я сказал даяну определённо, что ищу меламеда, хорошо знающего Танах и грамматику - значит, так оно и есть.

Я тут же всё обсудил с молодым человеком и мы договорились: сорок рублей за срок на всём готовом. И попросил даяна и меламеда пойти вместе со мной к "губернатору" и выпить в честь "гешефта".

У "губернатора" в шинке я попросил подать хорошей водки с печеньем и дал даяну три рубля за посредничество. Даян сказал, что не хочет никаких денег, но, имея корову, хотел бы, чтобы я, с той же подводой, которую сразу после Суккот пошлю за меламедом, как мы перед этим договорились, послал бы для коровы мякину.

"Корове надо есть", - усмехнулся он.

Я согласился послать мякину, хоть это и обойдётся в пятёрку - да уж ладно, пусть перепадёт еврею.

После Сукот нагрузил я телегу мякиной и на рассвете послал в Селец к "губернатору" с письмом о том, чтобы меламед приехал этой же телегой в Кошелево.

Меламед тут же приехал, и вечером дома я имел возможность слушать его дебют. Он занимался с моими детьми. Но от этого дебюта у меня потемнело в глазах. "Меламед" просто не знал Торы. Он держал большую книгу Торы вместе с немецким Пятикнижием[28]. И учил оттуда.

Я, однако, сдержался, стоял у стола и слушал, как он учит с мальчиком главу о Потопе. Но видя, что я стою у стола, меламед смутился: смотрит в немецкое Пятикнижие, что-то бормочет и листает страницы. Перелистал машинально две страницы и учит дальше, не заметив, что пострадал смысл. Это уж меня сильно раздосадовало.

Пока, на пробу я. взял и поискал как раз в "Берешит" и выбрал из стиха 5-го главы 2-й и дал ему, чтобы он мне растолковал стих, который начинается словами: "А человека не было, чтобы обрабатывать землю". И он мне растолковал так: "человек глаз[29]", и т.д.

"А, да ты знаток!" - я с трудом сдержал смех. Мне захотелось спросить его из главы 14. Там рассказано о том, как Авраам захватил всех пятерых царей, воевавших с Содомом. К Аврааму вышел царь Содома и Малки-Цедек, царь Шалема. И этот последний, Малки-цедек, благословил его, говоря: "Благословен Аврам Богом Всевышним".

Я его спрашиваю, не может ли он ответить на вопрос, кто такой был это Барух[30] - из лучших друзей Авраама или Лота?

Опустив глаза на стол, он еле слышно сквозь зубы цедит:

"Из лучших друзей Авраама".

Ну, тут я уже закрыл Тору. Что с ним было дальше разговаривать?

Сильно мне было досадно на даяна, всучившего "грубому ешувнику" невежду под видом меламеда. Хорош даян - нечего сказать. Мне оставалось ехать в Антополь - местечко, известное своими учёными и богачами.

Приехал я в Антополь вечером и тут же, как полагается, отправился в бет-мидраш. Там сидят молодые люди и занимаются. Я им рассказываю, для чего приехал, и о неприятности с тем меламедом.

"Меламед, не знающий древнееврейского"

Все засмеялись.

Я заметил у стола молодого человека с рукой и лиловым платком на раскрытой Гемаре - против чертей, чтоб не могли тем временем по ней учиться. И после того, как я всё рассказал, этот молодой человек попросил меня пройти на женскую половину, чтобы поделиться со мной секретом. И там, находясь со мной с глазу на глаз, сказал, что он - из Каменца, что зовут его Шлоймо и что он зять брисского даяна и известен как илуй.

Но собственно секрет заключался в следующем: он - единственный сын и должен явиться на призыв. Но боясь, что не попадёт в число льготников, он призыва избегает. Здесь, в Антополе, он занимается с богатым молодым человеком и берёт семь злотых в неделю, включая субботы. Он может даже получить место меламеда в деревне у богатого ешувника по восемьдесят рублей за срок и на всём готовом, но не хочет ехать ни в какую деревню к ешувнику.

Но зная мою семью, он был бы рад у меня поселиться. В деревне ведь безопаснее.

"Только я должен у вас спросить, - наклонился он ко мне с особой серьёзностью, - имеется ли у вас в доме Талмуд?"

"Имеется".

"Спокойно ли у вас?"

"Спокойно".

"Если так,- сказал он, очень довольный, - я с большим удовольствием к вам поеду". И у молодого человека просветлело лицо - очень симпатичное лицо. В каждом его движении был виден способный к занятиям человек, и я тоже был очень рад. Во-первых, у меня будет хороший меламед, во-вторых, будет, с кем проводить время в долгие зимние вечера в нашей большой пустыне. Я пожал ему руку, мы договорились и вернулись в бет-мидраш.

В бет-мидраше шла уже послеобеденная молитва. От слов и от мелодии разливалась грусть, и я невольно вспоминал мои добрые, сладостные, беззаботные детские годы.

После вечерней молитвы я вернулся к себе в корчму. Шлоймо был уже там с вещами (так ему нетерпелось) и с несколькими молодыми людьми, пришедшими меня проводить.

Я запряг лошадь, сел в бричку и взял вожжи в руку. Вожжи очень импонировали моему меламеду. Он их у меня забрал и стал сам "править" лошадью. Ему это явно доставляло большое удовольствие. Он был взволнован, как ребёнок - в первый раз держал в руке вожжи.

Молодые люди нас довольно далеко проводили, явно нам завидуя - вернее, завидуя быстрой езде, перемене мест, что так сладостно в молодости.

В Кошелево мы приехали поздней ночью.

Но там ещё сидел первый "меламед", и мне ещё надо было разобраться с ним, что было нелёгким делом.

Я уложил Шлоймеле как единственного сына спать, а сам сел писать письмо "губернатору".

В письме я его хорошо отчитал за "подарок", которым он меня удостоил. Просто разбил сердце. Как можно такое делать? Всё равно, что убить человека.

Написав письмо, я тоже отправился спать с мыслью, что завтра должен быть конец.

Назавтра с утра я велел запрячь лошадь, чтобы послать "подарок" назад в Селец "губернатору" вместе с письмом.

"Меламед", однако, ехать не желал и со слезами на глазах взывал к милосердию, просил позволить ему обучать моих детей.

"Как же это я так уеду?" - спрашивал он.

"Как же это я вас оставлю?" - спрашивал я.

Но говори так, говори сяк - без пользы. Переговорить его невозможно.

Я видел, что ничего тут не могу придумать, и предложил ему поехать с моим письмом в Малеч к раввину. Что тот решит, то я и исполню.

Дурак на это согласился. Он был уверен, что я просто против него настроен. Я приписал несколько слов для малечского раввина - таки о подлинных вещах - и он уехал, питая большие надежды.

У тогдашних раввинов было много времени, и малечский раввин всесторонне обследовал мой древнееврейский (письмо было написано на святом языке). И поскольку мой язык ему понравился, и даже очень, он обратился собственно к делу.

После долгих размышлений раввин решил, что меламеда

следует публично выслушать в шуле и определить, знает ли он Тору. Меламед также был этим доволен. В маленьких местечках нет секретов, и моё письмо стало там известно. На экзамен к меламеду пришли все евреи местечка.

Этот дурак, меламед, явился в шуль, чтобы его выслушали. Ему и в голову не пришло, что он там потерпит позорный провал. До экзамена, однако, дело не дошло. Уже при входе в шуль молодёжь местечка забросала его грязью и криками:

"Кошелевский меламед! Кошелевский меламед!"

В таком начале уже заключался конец. Кто бы его теперь стал экзаменовать?

Он - назад к раввину, чтобы тот ему дал письмо ко мне. Понятно, что не было у него никакого стыда.

Молодой человек явился ко мне с письмом. Раввин писал: "По закону он заслужил от Вас лишь оплеуху - невежда не должен браться за обучение детей Торе. Но если Вы желаете дать ему денег - дайте, сколько душе угодно". Ладно - сунул я малому десятку и покончил с этим смешным делом.

Смешное дело не разбило мне на этот раз сердца, поскольку окончилось тем, что я приобрёл Шлоймеле - очень симпатичного молодого человека и знатока Ученья, просто оживившего меня в этой пустыне.

Для занятий и сна я ему предоставил комнату, "большую, как поле". И день и ночь лился его голос, дивно размягчая наши сердца, и помню, что я ему завидовал: какая радость - уметь и хотеть заниматься! Сам он тоже был очень доволен: тихая, просторная комната, хорошее отношение и вдоволь еды.

Еда - немаловажное обстоятельство. Раньше он ел так мало!

Кроме удовольствия от его занятий, от сладостного, нараспев, чтения Гемары, которое я слышал у себя в комнате, он мне также часто напоминал мои добрые, весёлые юные годы, когда я сам день и ночь занимался, "собирал монетки" и строил дворцы иного мира.

Где всё это теперь?

То, что было так сладостно, так хорошо, что я иной раз плакал от сладости и горячей веры. У меня был мой великий Бог, прекрасный иной мир и цель жизни: я буду раввином, буду праведником, буду день и ночь жить в присутствии Бога. Всё для меня будет надёжно и светло - надо только вырасти.

Да - надо только вырасти.

Но - опять-таки: где всё это теперь?

Теперь я - обременённый заботами еврей, отец семейства с Кошелевым в придачу, должен молотить урожай, ссыпать зерно в амбар - и мужичить, мужичить, мужичить.

Но Шлоймеле пробудил во мне желанье заниматься, опять вернуться к тем дорогим молодым годам. И я решил избавиться побыстрей от своей работы, стать свободным и взяться за Гемару.

Решив это, я тут же заказал побольше молотилок, заплатил подороже и пригнал побольше работников. Для хозяина это был не очень практичный шаг. Но я ведь хотел заниматься.

Шлоймеле, опять же, меня как бы отчитывал - почему я не занимаюсь. Он ещё совсем не понял, что такое ярмо и что значит "зарабатывать на жизнь".

"Как же так, - удивлялся он, - вы ведь должны быть очень способны к ученью. В Каменце у вас есть имя. Я что-то не вижу, чтобы вы брали в руки Гемару!

Иди теперь и объясняй ему, что хозяина всё это не касается, что для хозяина куда важней повысить цены на зерно, дешевле нанять подённых рабочих, выставить коров на навоз, и т.п.

Для меня был вопрос - где учиться. Учиться самому у себя дома - скучно. Учиться с ним - страшно. Я уже 8-9 лет не держал в руках Гемары и занимаясь с ним в одной комнате, могу сильно осрамиться. Вот, где неразрешимый вопрос - я, конечно, уже всё забыл.

Вопросы эти меня довольно сильно беспокоили. Потом я решил, что должен где-то достать небольшого формата Талмуд и самого себя потихоньку дома проэкзаменовать. Для экзамена взять те самые трактаты, которые учит он. Так буду знать, как идёт у меня дело, и самому себе выдам аттестат.

Шлоймеле учил шестнадцать часов в сутки. Учил без дополнений и без выкрутас - просто и прямо. Шёл от листа к листу, как хороший полковник на поле боя, и через несколько недель прошёл недарим, назир, сота, гиттин, и остановился на трактате киддушин[31].

Получив, что мне нужно - небольшого формата Талмуд - я потихоньку пробрался к себе в комнату и стал себя с большим страхом экзаменовать.

Внимательно прошёл один лист, второй - идёт, как то, что я еврей! Уже осмелев, двигаюсь дальше, и чем дальше - тем лучше. Ещё дальше - ещё лучше. А если так - я уже почувствовал в себе уверенность, свернул с прямой дороги и обратился к трудным дополнениям.

Эти дополнения я когда-то любил, хоть большой простотой и ясностью они не отличались. В них содержатся трудные, тёмные тайны Гемары. Но удовольствие - извлекать эти тайны оттуда, раскрывать их, прояснять, распутывать, как плотный большой клубок.

Ну, решил я - на дополнениях моя тележка остановится. Но

как я был поражён, убедившись, что тележка моя бежит по запутанным дополнениям легко, как по зеркально-гладкому снежному пути. Идёт дело!

В одном только месте она сильно застряла, как прикованная. Я толкаю, толкаю - ни с места. Что делать? Морщу лоб - и так, и сяк, атакую изо всех сил дополнения. Ничего не выходит. Вижу, что все мои усилия напрасны. И тут я вдруг решил - чего мне стесняться? Сказано: "И не стыдливому учиться"[32]. Я встал, зашёл к Шлоймеле и попросил:

"Объясни мне, пожалуйста, дорогой меламед, то-то и то-то".

Он посмотрел, о чём я спрашиваю, и начал мне объяснять. Но я вижу, что он хочет здесь дело больше запутать, чем прояснить. Попросту мудрит и запутывает.

Среди литовских знатоков был такой метод: сначала учить весь Талмуд поверхностно. Затем, став уже в нём знатоком, учить глубже, основательнее, и вместо мудрствования и усложнения искать в каждом вопросе истинный смысл. Мой Шлоймеле, очевидно, находился в тот момент на уровне знатока, ещё до того, чтобы перейти к уровню большей сложности.

Сейчас он старался закрутить мне голову допущениями и пильпулем[33]. Я, однако, не отставал, и три часа подряд мы сражались над дополнениями. Когда стало ясно, что его ответ не соответствует заданному мной вопросу, он почти сдался.

"Ой, Шлоймеле, брат ты мой", - похлопал я его весело по плечу.

"Нет, подожди ещё", - отозвался он весело.

Доволен я был по двум причинам: во-первых, я теперь не должен его стесняться, а во-вторых, мне таки придётся поработать: всё же он очень много знал и удивительно был сведущ в Талмуде.

Эти самые дополнения, через которые мы оба не могли пробраться, меня очень привлекли, и мне захотелось съездить насчёт них к малечскому раввину - коль скоро речь идёт о знании - лениться не следует.

И на утро я таки отправился в Малеч к раввину. Раввин разрешил мою проблему, но также не совсем ясно - то есть разрешил наполовину, и я уехал домой довольный также наполовину.

Мало, кто учится основательно. Раввин прошёл Талмуд поверхностно, поспешно.

По дороге от Малечского раввина домой проехал я мимо лесной конторы. Конторщиком был польский еврей, хасид, выдавший недавно замуж дочь за способного ешиботника. Я остановил лошадь и заскочил к молодому человеку, которого

застал за ученьем. И вижу, что он тоже находится в самом начале трактата Кидушин. Но если кто-то находится вначале, то не стоит моих усилий с ним дискутировать. И я уехал.

Через несколько недель, по пути к малечскому раввину, я снова заехал к молодому человеку - может, я всё-таки могу с ним побеседовать на ту же тему.

Но я увидел, что за прошедшие несколько недель он продвинулся в учении не больше, чем на четыре листа Гемары, и подумал, что он учил что-то другое, и когда спросил его об этом, он ответил:

"Нет, я учил только трактат Кидушин".

"Что значит, - удивился я, - вы учите один лист Гемары в неделю?"

Он ответил:

"Я сижу и размышляю над трудным вопросам. Подхожу к трудному через лёгкое".

Я ещё больше удивился.

"Что значит - вы сидите и размышляете над трудными вопросами? Вы можете так сидеть годами - а ученье пропадёт? Сначала следует пройти весь Талмуд, а потом углубиться в вопросы".

"У нас в Польше учатся так...", - ответил он совершенно спокойно.

Я пожал плечами и уехал.

Тоже мне ученье. Безусловно, это плохой и непрактичный путь. Я в конец разочаровался в польском ешиботнике. Польский ешиботник тащится медленно и без толку. Зато литваки слишком быстро пробегают в этот первый раз Талмуд.

Вместо спешки - больше бы внимания, глубины, - вышло бы больше толку.

Сын моего дяди Липе к пятнадцати годам так знал шестьсот листов Гемары, что много раз изумлял величайших знатоков. Его собственный тесть, например, проверял его таким образом: втыкал иголку в Гемару и спрашивал, на какой проблеме стоит кончик. Внимательно посмотрев, наморщив лоб и думав, мальчик попадал прямо в цель.

Он был страшно прилежен, занимался по восемнадцать часов в сутки. Память имел сверхъестественную, потрясающую. И всё-таки понимал он Гемару поверхностно, неосновательно, несмотря на то, что знал её всю наизусть. И когда женился, пришлось ему ехать к белостокскому раввину реб Липеле - просить у него совета, как теперь учиться. Талмуд он знал, но основательно не понимал, и реб Липеле ему посоветовал, как приобрести знание путём углубления, постижения смысла.

Благодаря реб Липеле молодой человек достиг своей цели.

И я таким образом понемногу втянулся в учение под влиянием моего дорогогоШлоймеле.

К Малечскому раввину я уже ездил всю зиму по два раза в неделю. Я хорошо поработал. Но в то же время пришёл к печальному выводу, что никакой я не знаток, и никакой не маскиль. Ни то, ни другое. Стою посреди дороги - не там и не тут. Понятно, что со стороны кажется, что я Бог весть какой знаток. И это заблуждение иногда мне глубоко ранит сердце.

И как всегда у меня - поделать ничего нельзя.

Но так или иначе - зима доставила мне немало удовольствия. Я был доволен. Доход у меня, как обычно, был побочным делом, побочной мыслью. И моему мозгу было лучше витать в высших сферах Гемары.

Этот Шлоймеле сильно прикипел мне к сердцу. Очень милый юноша, очень честный, очень работящий, очень тихий и - тихо и незаметно влияющий на другого человека. И до сих пор я иногда по нему скучаю.

Помню, как на Песах я так над ним подшутил, что мне до сих пор стыдно. Мы сидели на седере. Наварили и напекли всего вдоволь. Для первых дней я зарезал трёх больших телят, не считая индюка, которого выходила жена.

Мой Шлоймо, слава Богу, плотно покушал. Его долю афикомана[34] я сильно преувеличил, и когда надо было его есть, я увидел, что Шлоймо это не по силам.

Но будучи очень правоверным, он постарался съесть. Видя, что он вот-вот одолеет этот большой кусок мацы, я ему незаметно пододвигаю ещё кусочек, ещё кусочек - то есть, весь его афикоман. Шлоймеле ел, ел, пока не побледнел и не выбежал на террасу.

Там его вырвало.

Не знаю, как поживает сегодня мой милый, мой хороший Шлоймеле. Но где бы он ни находился, он должен меня простить. Бог свидетель, что тогда я от любви и от удовольствия слишком много выпил. Еврей быстро пьянеет.

Кончилась зима, начались полевые работы. Солнце, лес, свежий воздух оторвали даже Шлоймеле от Гемары. Оба мы больше не занимались. Шли в поле, чтобы освежиться на солнце, ездили верхом, совсем, как помещики. Кстати, в деле верховой езды он не очень блистал. Он, бедняга, очень боялся лошадей. Хоть они его и привлекали - как всех слабых влечёт здоровье и сила.

Так прошло всё лето. Шлоймеле теперь бывал больше в поле, чем с Гемарой. Солнце согрело его застывшую кровь, он весь

переродился. Он увидел, что солнце, воздух, лес и работа в поле - это тоже важные вещи.

И благодаря Шлоймеле, я совсем не заметил, как пролетело лето. И вот уже осень, пахнет месяцем элюль[35]. Листья желтеют, листья падают.

И как раз перед новым годом Шлоймеле, к моей великой сердечной боли, уехал домой. Его вызвали на военную комиссию. Отец его переделал призыв на этот год. После его отъезда на меня напала ужасная тоска, и я долго не мог успокоиться. За этого юношу у меня обливалось сердце кровью.

Как-то вскоре после его отъезда прочёл я в газете "Ха-Мелиц", которую я выписывал, корреспонденцию из Гродно о том, что каменецкого илюя Шлоймо отдали в солдаты, что он - на постое в Гродно. И весь Гродно для него старается. Новость произвела на меня тяжёлое впечатление. Но тут же я успокоился: Шлойме действительно освободили - настолько гродненская община его ценила и жалела.

Глава 16

Меня снова тянет в путь. – Контракт с Шеметом. – Мой родич из Киева. – Я пою лошадь.- План уехать в Киев. – Мой дед. – У Шемета. – Поучения деда. – Я всё продаю. – Только Киев. – Поездка. – Первое приветствие. – Облавы. – Я лежу под кроватью. – Страх. – Плач. – Отчаяние и раскаяние. – Арестованный еврей.

После отъезда Шлоймеле я стал серьёзно думать о том, чтобы оставить этот медвежий угол. С помещиком Шеметом у меня был контракт на три года. На самом деле у него можно было сидеть вечно. Просто был у него обычай - заключать с каждым съёмщиком договор на три года, и потом, если жили дольше, он уже ни с кого сверх того не брал.

Так что я мог жить в Кошелеве, я сколько хотел, даже и после смерти Шемета. Дочь его тоже не хотела менять традицию, поскольку не хотела пока продавать имение. Доход я тоже имел.

Привыкнув, может быть, я бы там себя лучше почувствовал. Но как раз к тому времени, когда я стал думать о том, как бы выбраться из Кошелева, мой свояк Арон Цейлингольд переехал из Пинска в Киев. Город этот тогда стал к себе сильно привлекать евреев.

Эпоха Александра Второго не очень этому препятствовала, и в Киеве собралось много евреев. Река Днепр оказалась чуть ли не местом, вокруг которого собрались евреи. Занимаясь, в основном, торговлей зерном, евреи доставляли по этой реке зерно в Екатеринослав, Николаев, Кременчуг и т.п.

И постепенно Киев занял второе место в еврейской торговле вообще. Совсем свободно, правда, не было. Полиция часто устраивала знаменитые киевские "облавы", которые и поныне, к сожалению, не стали легче. Но всё-таки еврей мог существовать. Ибо вопрос был один: а где лучше?

Ремесленники так и так могли жить и торговать. А зачислиться в ремесленники было совсем не трудно. Кем угодно - стекольщиком, изготовителем чернил и уксуса - лишь бы ремесленником. Купцы первой и второй гильдий само собой имели право жительства. Так что большого полицейского успеха облавы не имели, и евреи, слава Богу, жили много легче и лучше, чем теперь.

На худой конец, давали что-нибудь на лапу. Старое еврейское средство. А иные евреи добывали разрешение с помощью готовки. Ну, какой еврей или еврейка не могут приготовить крупник с

куском мяса? И так оно и шло. И Киев превратился в большую еврейскую общину с торговлей, делами, ремеслом, и т.п.

Мой свояк приехал в Киев с семьёй и открыл там хороший постоялый двор. Жена вела постоялый двор, а у него были другие дела. Выгодных дел тогда в Киеве было завались.

Мой свояк считал, что в Кошелеве я делаю золотые дела, и совсем не собирался перетаскивать меня в Киев. Так случилось, что дом его отца в Пинске сгорел. Он поехал в Пинск получать деньги по страховке - три тысячи рублей. Будучи в Пинске, заодно решил заехать к нам в Кошелево, находящееся неподалеку. Специально хотел приехать без предупреждения, чтобы захватить нас за самой что ни н есть обыденной жизнью.

И, кажется, таки захватил.

Стою я как-то вечером в пятницу и пою у колодца лошадей: наливаю из колодца воду в корыто, и три лошади стоят и пьют. И в эту самую минуту незаметно подходит свояк. Мгновение смотрит, как я пою лошадей, и удаляется.

Уже позднее, когда мы сидели в комнате, он всё не переставал удивляться, как это мне, молодому человеку, проводившему так много времени в бет-мидраше, приходится ухаживать за лошадьми. Даже только достать воду из глубокого колодца и налить в корыто - уже казалось ему странным.

"А я думал, - сказал он, - что ты - сонное создание, способное только писать мне длинные письма в высоком стиле. Но всё это - не для тебя. Поедем со мной в Киев, займёшься выгодным делом".

И он стал рассказывать истории о сотнях евреев, прибывших в Киев буквально "без сапог" и за несколько лет ставших богачами с состоянием в сотни тысяч рублей. В Киеве можно разбогатеть быстро, на одной ноге".

Понятно, что свояк нас легко уговорил, и после его отъезда мы решили как можно быстрее покончить с Кошелевым и уехать в Киев.

Я за это быстро взялся. За несколько месяцев до Нового года я всё реализовал, постепенно продал коров, телят, быков, лошадей, овец, сено и т.п. собственность - не глядя на цену, быстро рассовывая товар - лишь бы поскорее всё кончить.

Всё распродав, я попросил деда поехать со мной к помещику, чтобы с ним всё уладить. Для помещика это было неожиданностью. Он считал, что я буду сидеть и сидеть в Кошелеве. Дед приехал, и с помещиком я тоже покончил.

Помещик сказал деду:

"Внук твой делает большую глупость, отказываясь от Кошелева. Оно ему очень дёшево стоит. Мне за усадьбу давно уже давали 1200 рублей. Но я терпеть не могу пересдавать. А я

подумывал, что, может, позже сдам твоему внуку в аренду свою усадьбу. Я уже стар, и уже не могу заниматься такими вещами. Внук твой - честный человек. Но - он не хочет, он спешит, он бежит оттуда. Так путь бежит на здоровье.

"Вы хотите сдать вашу усадьбу?" - Сделал попытку дед.

"Ну, да", - кивнул головой старый помещик.

"Так он - не поедет! - твёрдо сказал дед, - он тут останется".

"Нет уж... - рассердился Шемет, - теперь - нет. Теперь уже он меня не устраивает. Раз захотел уехать - он для меня больше не арендатор.

Дед вышел из себя.

"Что же это такое? - Сказал он мне потом с сердцем,- ты ведь ищешь удачи. Разбойник, ты ведь хочешь быть богатым!"

И он никак не мог успокоиться:

"Что тебя так привлекает в городе? Что такое, по-твоему, город? Там надрываются и убиваются ради грошового заработка. Увидишь, ты ещё пожалеешь о кошелевских деревьях. Такого помещика - такого помещика потерять! Ты знаешь - что такое - искать в городе заработка? - Пронзил он меня взглядом. Дай Бог, чтобы это было неправдой - но ты ещё это узнаешь, когда будешь рвать на себе волосы!"

Я, однако, деда не слушал - пусть говорит, сколько хочет. А я поеду в Киев. Большой город, много людей, есть, с кем поговорить, поспорить, побеседовать о высоких материях. Кошелево - не для меня.

Дед уехал огорчённый, а я кончал со своим деревенским хозяйством. Когда было всё продано, отправил свою семью в Кобрин, где жена с детьми переждут, пока я устроюсь, и один поехал в Киев.

В Киев я прибыл в пятницу утром и с удовольствием встретился со свояком, который держал на берегу Днепра постоялый двор. Приехав к нему, я тут же заметил, что вид у него не очень весёлый. Совсем не то радостное выражение лица, что было в Кошелеве. И когда я спросил, откуда такая перемена, то получил ответ, что зимой обанкротился Вайнштейн на шесть с половиной миллионов рублей, а так как это банкротство перевернуло весь Киев, то кого только этот Вайнштейн не затронул! Кроме больших банков, он частных лиц разорил больше, чем на три миллиона.

Мой свояк в этом море банкротства утопил три тысячи рублей наличными. И потерял на этом дела, приносившие ему до пяти тысяч рублей в год. Теперь, уже, когда я приехал в Киев, все дела, слава Богу, в земле, а торговля в Киеве - в развалинах, у свояка не осталось никаких дел, кроме постоялого двора. Жить с

одного этого - трудно, в особенности, привыкнув к широкой жизни.

При моих-то надежах - хорошенькое добро пожаловать! Самое подходящее время, чтобы приехать в Киев! Явился, вот он - я! Киев меня ждёт.

Кошелево поменяли на большой город. Вот тебе Киев. И тут же, в одну минуту, я впал в ужасное отчаяние, в тоску, точно, как зрячий человек, внезапно ослепший. Что я наделал? Как это я взял и бросил на ветер солидное хозяйство!? Как я продержусь? С чего буду жить теперь с женой и детьми? И вообще - как я, деревенский еврей, явился искать, чем заняться в большой, шумный город? Кому я здесь нужен? Кто меня здесь ждёт? Кто меня, эдакое сокровище - здесь схватит?

Отчаяние моё, как видно, зашло так далеко, что было замечено домашними, и мой свояк за меня взялся.

"Прежде всего, - сказал он, - будь мужчиной. От киевского банкрота ты ведь не пострадал. Так чего ты отчаиваешься? Может, тебе Господь как раз в Киеве поможет?"

И вечером он меня, чтобы развеселить, повёз в штибль карлинских хасидов. В штибле таки было весело, и отчаяние моё прошло. Еврейчики прихлопывали в ладоши, притопывали ногами и радостно встречали шабат. Я уже отвык от такого шума. И мне казалось, что стены тоже прихлопывают и поют "давайте радоваться".

Я перестал грустить. Дома мы со свояком весело спели "шалом алейхем", а за столом расселись компанией евреев в двадцать персон, среди которых находились крупные купцы, богатые лавочники, известные маклеры и т.п.

За столом - светло, горят свечи, на белых тарелках - прекрасные куски рыбы, читают кидуш, садятся есть и идёт долгая беседа.

Но о чём говорят? О, мой Бог, - об облаве!

Полиция хватает евреев! Прямо-таки хватает!

Что значит - хватает?

До сих пор я знал, что евреи бедствуют, страдают, несут на себе тяжкое, горькое бремя, но что евреев также и хватают - этого я совершенно не знал. У меня аж пот на лбу выступил. Полиция хватает евреев. Прямо-таки хватает!

"Вы не знаете, что значит, когда хватают? - обратился ко мне один еврей, заметив, как видно, что дело это для меня новое. - В прошлом году здесь, прямо посреди Кол-нидре, схватили целую синагогу евреев. Понимаете? Синагогу евреев".

"Значит - еврей не имеет права здесь жить, должен прятаться?" - спросил я неуверенно и как-то глупо, чувствуя при

этом, как меня пробрало до костей.

"А вы что думали? Конечно, он должен прятаться".

Тут я совсем приуныл. И мне подумалось, что свояк меня сделал несчастным, просто без ножа зарезал. Что же он мне в Кошелеве не сказал, что в Киеве хватают евреев? Я бы сюда не приехал за миллионы, за миллиарды. Хватают евреев!!!

В голову мне лезли самые ужасные мысли.

"Зачем ты меня сюда притащил?" - спросил я как-то с горечью свояка.

"Ша, не бойся, - растерялся свояк,- мы заплатили приставу, он уже своё получил и не цепляется. У нас не хватают. А если и бывает у нас облава, то назавтра отпускают, так как пристав своё получил. Прямо в руку".

Потом я заметил, что люди надо мной попросту смеются.

"Чего ты так боишься? - обратился ко мне как-то один гость,- ты ведь еврей, а еврей должен быть привычен к таким вещам".

И тут мне кое-кто из них рассказал, что они уже не раз попадались, не раз ночевали в тюрьме - и, слава Богу, живы. Ничего - до мессии ещё далеко. А пока приходится иной раз переночевать в тюрьме и платить деньги.

Собравшиеся запели, как если бы находились в Иерусалиме. Я стиснул зубы и решил: будь что будет.

Очевидно, однако, что в Киев со мной явилось не одно моё собственное злосчастье, а многие миллионы. И Киев долго не ждал и позволил мне вскоре вкусить все удовольствия облавы.

Ровно в одиннадцать, прямо посреди цимеса, который как раз оказался очень удачным, послышался громкий звонок. Звонили уверенной рукой, как гость не звонит, и все с помертвелыми лицами вскочили с мест.

"Облава!" - приглушённо вырвалось у кого-то.

Евреи, которые до того так смело говорили об облавах, тут, посреди цимеса, растерялись. Свояченица моя, очень деловая женщина, схватила меня за руку и зашептала:

"Пойдём скорей. Облава. Я тебя спрячу".

Бежит и тянет меня за руку. И все бегут - богачи, уважаемые евреи, маклеры, купцы. Настоящее паническое бегство. Как видно, в тюрьме не так легко сидеть, как они говорили.

Свояченица влетела со мной в спальню. Подвела к кровати и велела под неё влезть:

"Лезь, лезь, не стесняйся".

Представительные евреи, однако, оказались проворнее меня. Они уже все лежали под кроватями. И - я тоже полез. Лёжа там, я слышал тяжёлое сопенье лежащих под соседними кроватями. Слышал также, как стучат их сердца. И только я один - наоборот:

боялся не так уж сильно. У меня для этого как-то не было времени.

Странная картина. Лежат под кроватями евреи с красивыми бородами, отцы семейств, почтенные купцы и сопят, как гуси, когда хотят пить.

Навострив как следует уши, слышу, как полиция ходит тяжёлым шагом по тем комнатам и говорит грубыми голосами.

Ищут, думаю я, и, возможно, найдут. Вытащат из-под кровати компанию почтенных евреев.

На этот раз, однако, облава закончилась совсем легко, поскольку проводил её "хороший" пристав. При этом он был один. Но так как кого-то он должен был схватить, то для вида решил схватить спрятанного свояченицей бедного еврея. Возможно, что этот еврей специально нанимался для такой роли.

После их ухода мы вылезли из-под кроватей. Выглядели очень красиво - с грязными носами, с паутиной и пятнами пыли на субботней одежде.

Тут на меня напал страх, и я без стеснения в голос расплакался. Я понимал, что слёзы эти - лишние, глупые. И облава - не страшная вещь, и плакать еврей не должен, тем более, в голос. Наверное, это выглядело противно и глупо. Думаю, что моя свояченица, увидев мои слёзы, ещё больше пожалела, что я приехал. Всю ночь они со мной возились. Я никак не мог успокоиться. Свояк применил все средства, но они не помогали. И такое состояние у меня продолжалось до утра. Я не мог ничего ни есть, ни пить, а сердце что-то грызло и грызло.

Меня передали гостям - чтобы те меня успокоили. Они мне рассказали случаи из жизни миллионеров и возились со мной, как с ребёнком. Свояченица привела из участка бедного еврея.

"Подумаешь, пустяки какие!" - похвалялся он, вернувшись.

"Видишь,- смеялась надо мной свояченица,- человек в тюрьме сидел - и не плачет!"

"Что вы там сказали?", - спросил я еврея.

"Сказал, что приехал сегодня и тут же еду обратно", - ответил совершенно спокойно еврей.

Я посмотрел на него и подумал: всё пропало. Что я могу теперь поделать? И чем я лучше этого еврея? Он страдает, бедняга, ради заработка, ну, и я пострадаю. И я стал себя насильно утешать. Я не знал, что испытать настоящий страх мне в Киеве ещё только предстоит, а этот, нынешний - ничто перед тем, будущим, когда я достаточно себе надорву сердце и наплачусь большими слезами.

Глава 17

Я ищу магазин. – Внезапное наводнение. – Жена и дети - в разгар наводнения. – Есть уже магазин.– Большие сожаления.– Бедствия.– Христиане.– Дела христиан.– Жизнь среди евреев и русских. – Андреевский спуск.– Евреи из облав. – Литвак в Киеве. – Моя обязанность. – Реб Лейб Шапиро. – Пристав Михайлов.– Мадам Розенберг. – Реб Гирш Эпштейн.– Реб Мойше-Ицхок Левин.

Прошла суббота, началась неделя, и я немного успокоился. И немного успокоившись, стал себе искать дело. Были разные планы, и один хороший знакомый свояка предложил мне стать компаньоном местного торговца зерном, ездить и скупать зерно, что и будет моим делом. Мне советовали оставаться пока в Киеве одному, а если дело пойдёт и будет приличный доход - вызвать жену с детьми.

Но я был молод и глуп и не хотел жить в Киеве один, без семьи. "Высокими" и конечно глупыми словами я объяснял, что хочу быть отцом своим детям и хорошим мужем - своей жене, что они не должны жить без меня.

Поскольку бакалея - одна из главных отраслей торговли, я решил снять для жены бакалейную лавку. Она будет сидеть в магазине, а я займусь другими делами. Мой свояк тоже возражал против того, чтобы я привозил жену. И конечно был прав.

Я, однако, не послушался, и, устав со мной спорить, он попросил знакомого маклера подыскать мне магазин.

Я велел жене продать всю домашнюю утварь и к Песах приехать в Киев. Однако - легко сказать, но трудно сделать, особенно, такому удачнику, как я - как раз в это время разлился Днепр, и улицы нескольких районов залило - как раз те, где жили евреи.

Такого разлива жители Киева за последние годы не припомнят. Постоялый двор моих родичей, стоявший недалеко от берега, наполовину залило. Все дома в этом районе оказались в воде, и люди по улицам передвигались на лодках.

Разорились сотни людей. Валялись на чердаках с детьми, есть было нечего. Понятно, что больше всего пострадали нищие, поскольку наводнение в особенности охватило район нищих и евреев.

О том, чтобы снять магазин для жены, не могло уже быть речи. Я таскался по улицам целыми днями, наблюдая большой разлив. Для меня ведь это было в новинку. В воде плавали

скамейки, доски для резки лапши, столики, качалки и прочая домашняя утварь.

Как сказано, я ещё раньше написал жене, чтобы она приехала. Практичный человек, видя такое наводнение, тут же послал бы другое письмо - чтобы она не приезжала. Я этого, однако, не сделал, и в самый разгар наводнения, с тремя маленькими детишками - она приехала. С большим трудом я их кое-как втащил в дом свояка. Верхний этаж не был затоплен.

Третий ребёнок был ещё крошкой, и мне его пришлось пронести на руках приличный кусок - весь берег, поскольку никакой экипаж там не мог проехать.

Я пробирался по доскам и брёвнам, проложенным через воду и дрожал, чтобы, не дай Бог, не свалиться вместе со своим цыплёнком в воду. Чувствуя себя при этом дураком и ничтожеством: притащить сюда жену в разгар наводненья!

С большим трудом одолели мы море воды. С трудом пережили эти трудные дни. И после Песах стали энергично искать магазин вместе с квартирой, что в Киеве встречается очень часто.

Случилось нам купить магазин вместе с товаром у одного еврея, проживавшего на христианской улице. Ясно, что у еврея там шли дела очень плохо - кто придёт к нему покупать туда, где евреи - такая редкость? С другой стороны - зачем еврею покупать такой магазин? Но как истинный Менахем-Мендель[36] - растерянный, разгорячённый, взволнованный - взял я и купил магазин.

Купив магазин, я тут же увидел, что его хозяин попросту хорошо меня обдурил. Товар совсем не стоил заплаченных за него денег. И это особенно разрывало сердце.

В одно прекрасное утро мы перебрались в квартиру, расположенную по соседству с магазином. Из квартиры вход в магазин. Через несколько дней стало ясно, что с магазином - проблема. Покупателем и не пахнет. Никого! Хоть сиди и смотри на стены.

И тут начался тяжёлый период - с сожаленьями, муками, с досадой, с сердечной болью, с терзаньями, которые больше заметны и болезненны в большом городе, чем в деревне.

Я уже ищу других доходов. Я познакомился с богатыми евреями, крутился возле них - может, что-то из этого выйдет. Но не вышло ничего. Единственное, на что я мог им пригодиться - было маклерство, но на это, в отличие от Менахем-Менделя, я был неспособен.

Для этого надо быть праздным, лживым, болтливым, а мой язык ещё был наивным и невинным - или глупым.

Положение было тяжёлое. Не имея, что делать, и не в

состоянии сидеть в магазине без покупателей, я слонялся по улицам и смотрел, как живут нееврeи. Временами охватывала зависть. Жили они необыкновенно богато, необыкновенно чисто. Магазины их сияли. Купить что-то у нееврея было очень приятно.

Только войдёшь в нееврейский магазин, тут же хозяин снимет шляпу с вежливой улыбкой, не пристаёт к покупателю с разговорами, вообще говорит спокойно, спокойно называет цену, не набрасывается, и чистыми, сверкающими пальцами демонстрирует нужный покупателю предмет.

От такого обращения покупатель расслабляется, чувствует доверие к продавцу и редко выходит из магазина с пустыми руками.

В моё время русские были очень искусными торговцами и исключительно хорошо вели дела.

Конечно, они не были такими честными, как казалось. Купить у такого большой транспорт с товаром было иногда даже рискованно. И даже контракт ни от чего не гарантировал. Регулярно прибегали ко всяким уловкам, и контракт, в конце концов, не имел тут никакой силы.

Но так бывало только с большим транспортом товара. Понятно, что не все купцы были такими. Грех было бы так считать. Я знал много честных, очень солидных купцов-христиан, торговцев, продавцов.

Евреи с русскими очень хорошо жили, хоть русский иной раз мог просто так, без всякого зла, взять и сказать:

"Жид проклятый!"

Просто так, за здорово живёшь

Еда в Киеве стоила очень дёшево, и люди таки ели! Русские ели много, и евреи тоже немало. Русские, кроме того, лили в себя водку, как воду.

Помню также, что бессчётно ели маслины - фрукт, к которому надо было привыкнуть.

Сначала, как только приехал, я этого есть не мог, меня тошнило. Но потом, постепенно, привык и очень полюбил.

За жильё платили обычно совсем дёшево, домохозяева не имели ещё такой силы, как тут, в Варшаве. Если жилец не заплатил квартплату, его не выбрасывали тут же, как в "маленьком Париже". Хозяин ждал: может быть, может быть он всё-таки заплатит!

И обычно хозяин не ошибался и не терпел убытка. Бедный жилец в конце концов платил. За пять лет, что я прожил в Киеве, я не видел и не слышал, чтобы хозяин выбросил жильца за неуплату квартирных денег. И с уверенностью могу сказать, что при более широких возможностях варшавских хозяев в смысле

эксплуатации своих жильцов, киевские жильцы меньше должны денег своим хозяевам, чем в Варшаве.

Киевские евреи держались с литваками холодно. Такая уж у литваков судьба.

Особого вреда от этого не происходило. Литваки старались не обращать внимания и делали там очень хорошие дела. Из бет-мидрашей самым лучшим и достойным был литовский, и самым знаменитым раввином - тоже литовский. Литовские евреи конечно играли в городе большую роль, и больше были преданы интересам своих людей, чем богатые евреи других секторов.

Жил в моё время в Киеве один литовский богач - реб Лейб Шапиро. Был он из Минска. В Киеве он владел мыловаренной фабрикой. Он был большим филантропом, и имел открытый дом для всех одиноких.

И он, и его жена проявляли большое внимание к бродячим евреями, захваченным в полицейских облавах. Немало евреев вытащили они из мрачных киевских тюрем и вернули домой. Понятно, что такой светлый и милый литвак, как реб Лейб Шапиро, был в Киеве не один. Возле моего магазина у Андреевского спуска как раз проводили всех схваченных евреев после того, как они провалялись ночь в участке. Их вели к полицмейстеру. Оттуда отсылали по этапу домой. В толпе арестованных преобладали старые евреи, женщины, калеки и маленькие девочки. Моей обязанностью было - дождаться, когда арестованных проведут мимо моего магазина и всучить "старшему городовому" пару копеек, за что он позволял мне пройти вместе определённое расстояние с арестованными. Я тем временем узнавал их имена и адреса, которые тут же передавал в дом реб Шапиро.

Заботиться о пойманных во время облавы было в то время одной из главных забот киевских евреев. Всё уже было отработано - ведь еврей не может не помочь схваченному еврею.

Из дома реб Лейба Шапиро тут же бежали к подольскому приставу Михайлову, совали ему монету и делали, что надо. Каждый день получать на лапу - не пустяк, и таки говорили, что пристав Михайлов "набит золотом".

В то же время известным богачом Розенбергом, тестем барона Гинзбурга, были открыты две дешёвые еврейские столовые. В этих столовых была большая надобность, т.к. по всему городу скиталось немало нищих, не имевших никакого пристанища, которых регулярно сзывали на обед.

Очень интересной женщиной была мамам Розенберг. Это была филантропка с истинно тёплым сердцем, по-настоящему милосердная.

Каждый день она приезжала с Крещатика на Подол в дешёвую столовую - в нарядной карете, запряжённой парой лошадей, с лакеем. К карете снизу был привязан красивый ящичек.

В столовой она от разных лиц: нищих, обедневших интеллигентов, разорившихся торговцев, покалеченных рабочих, оголодавших маклеров и т.п. - получала письменные просьбы и складывала их в ящичек. Просьбы эти собирались заранее и подтверждались литовским раввином.

Например - кто-то должен уехать и не имеет на это средств. Он пишет в таком роде просьбу, а раввин, к которому он обращается за подтверждением, выясняет у него, действительно ли он собирается ехать и не имеет для этого средств. И тут же ставит свою печать на просьбе.

После этого тот идёт в дешёвую столовую и отдаёт просьбу мадам Розенберг. Дома мадам просматривает просьбы и каждому уже оказывается помощь.

Много ей помогал реб Израиль Бродский. Дом Бродского вообще тогда был домом благотворения и работы на пользу общества.

Но очень, очень замечательным был реб Гирш Эпштейн. Он имел золотое сердце. Это был еврей, которому бедность, несчастья и заботы ближнего буквально не давали есть, пить и спать. Сам он имел мало денег, но умел их собирать и по-хорошему, тихо и тайно делить среди нуждающихся.

Это был еврей, про которого действительно можно сказать, что беда ближнего была его собственной бедой, а нужда ближнего - его собственной нуждой. Ради ближнего он не знал покоя, и киевские евреи, даже киевские "люди воздуха" с бедных улиц, думается, должны его помнить из рода в род.

И ещё много, много добрых, хороших, сердечных киевских евреев приходят мне на память, но кто может их всех перечесть? Где взять для этого место и время?

Одно могу сказать - что во время своего пребывания в Киеве мне удалось узнать изрядное число добрых, горячих и достойных евреев, которые жили красиво и умерли красиво и были преданы своему народу до последнего дыханья, как смелые и бравые солдаты.

Но как не вспомнить, как пропустить такого интересного и дорогого еврея, каким был реб Мойше-Ицхок Левин! Сейчас, когда ренегатство и ассимиляция правят свой мрачный и нудный бал на еврейской улице, он приходит на память, всё ещё светлый и лёгкий, всё ещё тёплый и близкий.

Этот реб Мойше-Ицхок Левин вообще-то был из Карлина, и на память он мне приходит из-за своего способного сына, реб Шмуля

Левина, жившего в Киеве и бывшего одним из лучших киевских общественных деятелей.

Отец реб Шмуля, реб Мойше-Ицхок Левин, раздавал подаяние налево и направо и в некоторых городах строил талмуд-торы. К талмуд-торам имел он особую слабость. Взять бедных детишек в дом, обуть их, одеть, вовремя накормить и выучить - было для него наивысшим удовольствием.

Понятно, что такое удовольствие немало стоило. И его ученики из талмуд-торы не ходили оборванные, как бывало в те времена в еврейском местечке. Нет - они были хорошо обуты и одеты, а голодное выражение их бледных лиц совсем исчезло.

На столе в синагоге у реб Мойше-Ицхока стоял ящик для просьб, и каждый день, снимая с себя талес и тфилин, он обращался к ящику. Нечего говорить, что о просьбах заботились.

И странная вещь: в делах реб Мойше-Ицхок был очень твёрдым. Не упускал ломаного гроша. Тому, кто с ним торговал, приходилось туго.

Казалось, что в нём сидит два человека: один - жестокий - для дел, и другой - шёлковый, прямо ангел - для своих.

Но возможно, что он был жестоким в делах для того, чтоб иметь возможность быть ангелом для своих - для бедных мальчиков талмуд-торы, для измученных, разбитых сердец и для настоящих благотворительных учреждений?

В случае неудачи в делах, он так выражался:

"Ничего, мои люди мне помогут..."

Случился у него однажды пожар, и он всех по-отечески утешал:

"Ничего, мои люди мне потушат..."

Его люди - это были сотни учеников талмуд-торы, беспокойные, скитающиеся евреи, бросающие ему сотни просьб в ящик на столе, крупные благотворительные учреждения и т.п.

"Не беспокойтесь, мои люди мне помогут", - было его любимым выражением.

И его люди были-таки ему верны и благодарны. На пожар сбегались евреи, как пчёлы - и тушили.

Как-то у реб Мойше-Ицхока украли огромную сумму бумажных денег. Услышав об этом, он совершенно спокойно заявил:

"Не волнуйтесь, мои люди найдут пропажу..."

На его удачу воров таки вскоре нашли вместе с деньгами - не хватало какой-то мелочи. Он тогда торжествовал:

"Ну, вы видите, как мои люди обо мне заботятся? Вы видите, видите?"

И он всем внушал, что за добро всегда заплатят добром, и

доказательство - нашли пропажу.

Понятно, что для тех времён помощь киевской еврейской бедноте была очень хорошо организована. Зимой все киевские нищие были обеспечены дровами и хлебом. В Песах много денег распределялось на покупку мацы, и бедняки могли спокойно сидеть за столом.

Перед самым праздником доброму Эпштейну было уже некогда жить. Обегал по очереди дарителей, показывал счёт - сколько всего надо, как велика "команда" нищих, тянул деньги, как воду, и раздавал, как воду.

Давать самим бедным реб Гирш Эпштейн умел особенно красиво. Дающая рука реб Эпштейна не могла никогда обидеть чувств бедняка, глаз бедняка.

Это - очень трудная и очень редкая вещь. Одной доброты не достаточно. К этому ещё надо иметь большое сердце и много внутренней красоты, то есть - способность тонко чувствовать.

Поэтому я считаю, что среди очень многих прекрасных крупных евреев в Киеве в моё время, - самым прекрасным был-таки золотой, сердечный реб Гирш Эпштейн.

Глава 18

Киевские евреи. – Хасиды. – Цыганки, гадалки и маленький шейгец. – История с раввином.– Хасидские ребе и ювелирное дело.– Реб Дувидл Тальнер. – Да здравствует Давид, царь Израиля. – Реб Ашер Карлинер. – Великолепная свадьба у реб Ашер Карлинера и раввина из Триска. – Хасиды.– Казаки. - Казацкий марш реб Исроэля. – Легенда с хорошим концом. - Житный базар. – Еврейские надежды. – Ветры свободы. – Пристав Михайлов и юный революционер. – Известная трагедия еврейских родителей.

В Киеве в то время было много хасидов, но без общины, без своего коллектива.

Большинство киевских хасидов были далеки от хасидизма, не имел никакого понятия, что такое хасид и что такое хасидизм, и к ребе не ездили, как здесь, в Польше, под действием экстаза, от большой веры, от любви к хасидскому обществу

Единственное, что киевских хасидов привязывало к хасидизму - было чудо, в которое они верили.

Ребе, например, мог исцелять больных, освобождать арестованных и посылать бесплодным детей.

Понятно, что коль скоро их хасидизм был связан с чудесами, то уже верили и в волшебство, и в нечистую силу, в метательниц карт и цыганок и прочих, умеющих читать по руке, и т.д., и т.п.

Действительно, на киевских улицах часто встречались цыганки. Они останавливали еврея побогаче, обычно хасида, и предлагали показать руку, что тот без колебаний тут же делал. Цыганки смотрели на руку и говорили, что случится с хасидом.

Жил в киевском предместье некий больной шейгец, маг и кудесник, и евреи приходили к шейгецу, прося вылечить жену или детей или сказать, где спрятано ворованное.

Отец шейгеца стоял в дверях квартиры и брал с каждого по пятнадцать-двадцать копеек или бутылку водки - и народу бывало много.

Нечего и говорить, что этот шейгец был в Киеве известен, что посещали его не одни евреи. Улица, где он жил, была заставлена каретами и экипажами, и люди там крутились, как муравьи в муравейнике. Чудеса, которые он показывал, были потрясающие.

Я, будучи уже большим специалистом в чудесах и наслышанным чудесных историй от шамеса Лейбке, должен признаться, что о таких ещё не слышал. Даже самые чудесные

истории о хасидских ребе - не рядом будь помянуты - слабы были по сравнению с чудесами больного шейгеца.

Упомяну только, к примеру, как хасиды рассказывали у отца за столом об "истинном" случае с ребе: к хасидскому ребе высший суд послал две души, совершивших в земной жизни один проступок. Ребе должен был их судить. Думал он, думал и надумал такой приговор: одну душу будут долго мучить ангелы-разрушители, а потом отправят в ад, а другая должна войти в рай и там сообщить во весь голос учёным праведникам о всех своих совершённых на протяжении жизни проступках.

Вторая душа стала горько плакать и просить у ребе пощады - пусть лучше он её осудит тем судом, что судил первую - так ей стыдно кричать о своих проступках всем праведникам в раю.

Ребе сказал:

"Ничего не поделаешь! Таков мой приговор!"

Вышла душа с такими стонами и плачем, что слышал весь город и тоже плакал.

Сердце ребе, однако, не смягчилось, и вторая душа с большим позором отправилась в рай.

Но что был суд ребе над двумя душами против великих чудес маленького крестьянина?

Рассказывали, что сам киевский губернатор приезжал к нему спросить, кто победит в русско-турецкой войне. Это было как раз во время войны. Шейгец заверил губернатора, что победят наши, и губернатор уехал довольный.

С самого начала поражала меня в киевских евреях распущенность, которая вполне спокойно уживалась с суеверием. Я этого как-то не мог постичь.

Мой сосед, богатый еврей - хасид, сидел как-то в субботу со своими гостями-хасидами на террасе и курил папиросы. Я как раз проходил мимо; меня окликнули. Я подошёл и услышал их разговор.

Говорили о разных ребе и чудотворцах. Мимо шла цыганка, и они ей протянули руки и просили предсказать будущее.

Хасидов, как уже говорилось, в Киеве было много, но хасидских синагог -мало. И я поэтому был убеждён, что хасидизм - это такая вещь, которая не угаснет, как мы думали раньше.

Я раньше думал, что хасидов постепенно будет всё меньше и меньше, что хасидский дух исчезнет с эпохой Хаскалы и т.п. вещей. Но теперь увидел, что Хаскала - сама по себе, и хасидизм - сам по себе.

И Хаскала не может затушить живой огонёк хасидизма.

У меня был хороший знакомый, директор большого модного магазина. Он мне рассказывал, что от дома макаровского[37] ребе

они выручают за предметы роскоши - брошки, булавки, нитки жемчуга, застёжки к дамским платьям - добрых несколько тысяч рублей в год. Ребе им должен сейчас тысячу пятьсот рублей, а несколько раньше его невестка купила себе украшений к одному платью на сто пятьдесят рублей.

"По правде говоря, - сказал директор, - товар таки больше сорока рублей не стоил. Сколько спросили, столько и получили. На таких не грех заработать. Торговаться они ненавидят - и не торгуются".

Он бросил на меня взгляд и многозначительно рассмеялся.

Как жил Тальнинский[38] ребе реб Дувидл - это известно. В доме он сидел на серебряном стуле, на котором было вырезано имя Давид, а ездил в дорогой карете, запряжённой породистыми конями.

Однажды он прибыл в Киев. Весь город бурлил. Евреи сбежались посмотреть на великого ребе. Когда он ехал по улице в дорогой карете, евреи бежали следом и кричали:

"Давид - мелех Исраэль, хай ве каям"[39].

Нашёлся один еврей, который донёс - на это всегда находится еврей, -который сообщил, куда надо:

"Евреи кричат а улице: "Да здравствует Давид, царь Израиля".

К ребе пришла полиция и его арестовала, при этом было записано в протокол, что евреи называют раввина царём Давидом. Ребе посадили в киевскую тюрьму.

История наделала со стороны евреев ужасного шума и стоила много десятков тысяч рублей. Банкир Куперник, отец адвоката, очень постарался освободить реб Дувидла. Знаменый Тальнинский ребе освободился. С тех пор, однако, он перестал выезжать.

Реб Дувидл из Тального напомнил мне сейчас о Карлинском раввине реб Ашере и о царской свадьбе дочери реб Ашера с сыном Триского раввина.

Я тогда был ещё мальчиком и знал все подробности о свадьбе, которая потрясла мир.

Пригласили раввинов, клейзмеров и бадханов со всей черты оседлости, а о рядовых хасидах нечего и говорить.

Всего было с десяток тысяч человек. В Карлине было полно народу. Все дома и даже улицы были набиты хасидами.

На улицах стояли большие кувшины с водкой, печенье и всякая закуска. В разных местах играли разные клейзмеры. И в разных местах говорили бадханы и веселили гостей.

Ходили в шёлковых и атласных капотах и штреймлах.

В день свадьбы хасиды стояли шпалерами по сторонам улицы, где жених с невестой должны были ехать к хупе.

Должны были проехать две кареты: в одной - жених, в другой - невеста. В карету жениха запряжено было, может, тринадцать лошадей по числу тринадцати божественных свойств. Золото и серебро сияли со всех сторон. Говорили, что лошади - перевоплощение великих людей. Я уже забыл имена всех великих душ, добровольно вселившихся в лошадей.

Пинские и минские богачи добились разрешения у губернатора - ненадолго превратить хасидов в "казаков", чтобы иметь своих казаков. Целый эскадрон хасидов одетых как "настоящие" казаки, с длинными шашками и нагайками, скакал по бокам кареты жениха.

В те старые добрые времена этого удалось добиться, и хасиды имели казаков.

Наш сердечный реб Исроэль приспособил казацкий марш, и Симха, сын каменецкого раввина, перед свадьбой ещё раз поехал с музыкой в Карлин, наводняя его будущими "казаками".

Конечно, мне до сих пор памятен этот марш, поскольку каждый раз во время Симхас-Тойры, когда хасиды шли по улице из хасидского штибля к моему отцу, они пели песни на мотив этого самого казацкого марша[40].

"Казаки" эти соблюдали порядок, чтобы не дошло, не дай Бог, ни до каких катастроф - в чём, конечно, была необходимость при такой тесноте.

После хупы клейзмеры играли на всех улицах; хасиды плясали то, что клейзмеры играли, и в местечке буквально дрожала земля от криков и пляски.

Десяток тысяч людей плясали - весь Карлин, из конца в конец, плясал. Барабаны и тарелки сотрясали воздух. И на всех лицах была разлита радость. И так продолжалось все три дня.

Как раз была хорошая погода, что было воспринято как чудо. Потом хасиды со своими цадиками постепенно разъехались, но немало их осталось на все семь пиршественных дней.

Но я пока что так погрузился в дорогие мне и весёлые рассказы о жизни цадиков былых времён, что совсем отступил от темы. Остановился я на шейгеце с его чудесами. Но давайте его оставим. Думаю, что читатель меня за это простит. Вернёмся назад в Киев.

Как жили когда-то евреи в Киеве, может показать легенда, которая в то время была очень распространена среди тамошних евреев. В этой легенде уже ощущается, хотя и слабо, ветерки свободы, слегка задувшие во времена Александра Второго, и возможно, что в них, в этих легендах, спрятана некоторая правда.

Естественно, крупным русским купцам не нравились успехи киевских евреев в торговле. Евреи Киев просто оживили. Торговля

процветала, и благодаря еврейской активности в русские купеческие красные руки попало немало еврейских денег. Еврейские-то деньги любили, но самих евреев хотели бы закопать. Старая история.

Современная легенда рассказывает, как собрались тридцать девять купцов и послали царю бумагу: "Поскольку Киев - святой город, и все цари не позволяли там жить евреям, и до царя Николая Первого евреев на улицах Киева вообще не было видно - просим, господин царь, возобновить старый святой указ и убрать евреев, сбежавшихся сюда с севера и с юга, с востока и запада".

Подписали бумагу все тридцать девять купцов. Но была и сороковая подпись. Принадлежала она киевскому городскому голове Демидову, большому миллионеру. В ответ на эту бумагу голова тут же получил депешу министра от имени царя: "До сих пор я считал, что в Киеве в моём владении имеются тридцать девять дураков, но теперь вижу, что у меня там есть сорок настоящих, истинных глупцов".

Депешу эту Демидов воспринял очень тяжело. Сам царь его называет дураком - самый большой удар, который может получить человек. Стыдно показаться на улице. Надо бежать из России. Жена Демидова, интеллигентная дама, совсем расстроилась:

"Бежать! - воскликнула она, - попросту отсюда просто бежать!"

Демидов продал все свои сахарные заводы вместе с домами и владениями, превратил всё в деньги и выехал вместе с семьёй за границу.

Тут легенда получает истинно-еврейский конец. Уже находясь с женой за границей, Демидов перечитал ужасную депешу и пришёл к выводу, что, возможно, они таки действительно дураки.

"Нам бы узнать еврейский народ, его историю и литературу", - плакали они.

А она, всхлипнув, прибавила:

"В телеграмме чётко сказано, что мы дураки - мы и есть дураки".

Ну, понятно, что с тех пор они стали очень интересоваться евреями и их историей и тут же стали большими друзьями евреев, горячими сторонниками израильского народа. А жена Демидова написала и напечатала очень важную книгу о евреях и разослала по всей Европе всем важным людям: чтоб знали, кто такие евреи. Следы их ног надо целовать!

Тут и сказочке конец[41].

В холодных и тяжких условиях еврейской жизни легенды эти

доставляли немало удовольствия и радости. Когда человеку плохо, он любит легенды.

Когда Чертков стал в Киеве генерал-губернатором, облавы на евреев прекратились, и так это и продолжается поныне. Наоборот - евреев в Киеве становится всё больше.

Добрым и странным человеком был этот Чертков. Однажды, например, он встретил на Подоле внушительную "процессию" евреев в сопровождении полицейских. Были там старые, молодые, женщины и дети.

Генерал-губернатор остановил полицейских и спросил:

"Кто эти арестанты?"

"Взятые в облаве, Ваше высокопревосходительство", - получил он ответ.

Черткова передёрнуло:

"Облаву делают на зверей", - сказал он с отвращением. И с тех пор облавы запретили.

Весть об этом в один день разнеслась по всей Волыни и Малороссии, и евреи - пусть они будут здоровы - буквально хлынули со всех сторон.

Без преувеличения можно сказать, что за год, может, тридцать тысяч евреев приехало в Киев[42]. Евреи торговали, посредничали, открывали лавочки, покупали и продавали.

С христианами евреи очень хорошо жили, как бывало всегда, когда не подзуживали со стороны. Дружно торговали, - не больше, не меньше - еврей подзадоривал христианина, развивал в нём больше энергии к гешефту, больше ума в торговле.

На "Житневом" базаре шла большая торговля бакалеей, как в "Ряду" Бриска или у Железных ворот в Варшаве - и я покупал и у евреев, и у христиан - где было выгодней. Я хорошо был знаком с одним русским бакалейщиком и даже с ним подружился. Летними днями я вёл, по своему обычаю, дискуссии с христианами о евреях.

Один недостаток приписывали тогда евреям: что они не соблюдают чистоты. В Киеве было чисто, а евреи неспособны к аккуратности. Мне приводили в пример еврея с полумиллионным состоянием, у которого во дворе лежат горы мусора. Лестницы замызганы и воздух - тяжёлый. Уже издали можно было узнать, что здесь живёт еврей.

По большей части я таки не знал, что на это ответить. Но приехав в Варшаву, я утешился, заметив, что бедные варшавские евреи содержат себя аккуратнее бедных поляков. Последние о чистоте не имеют никакого понятия.

В то время еврейские общественные деятели добивались у властей по всей России открытия ремесленных училищ и

организации еврейских поселений. Для этой цели собрано было тогда много денег. Для открытия ремесленных училищ Поляков[43] поручил реб Исроэлю Бродскому[44] создать фонд и выписал для этого чек на сорок тысяч рублей. Бродский поручил реб Шмуэлю Левину устроить съезд киевских богачей.

Съезд тут же состоялся, и на нём Бродский первый дал десять тысяч рублей. И так собрали ещё около пятидесяти тысяч рублей, что вместе с поляковскими дошло до ста тысяч.

Вообще забурлило во всех еврейских уголках, и еврейские мечты были велики.

Спасибо хотя бы за эти надежды, которые на время пробудились, потому что потом стало хуже.

В те годы стала созревать в обществе революционные настроения. Богатая молодёжь шла "в народ", жертвовала жизнью, желала прихода Мессии. И аресты сыпались градом.

Меня позвал богатый сосед. Дело, как видно, было простое, но для тех времён необычное. Его сын, пятнадцатилетний гимназист пятого класса, хочет спасать Россию и содействовать приходу Мессии. Не мог бы я его отговорить, удержать от таких подвигов?

Я пошёл и застал пристава Михайлова за спором с этим самым мальчиком. Пристав его просил сказать в жандармском отделении, куда он сейчас его доставит, что он знать не знает ни о каких глупостях, и что ничего у себя не держит, а мальчик отказывался. Говорил, что открыто скажет: его не устраивают порядки и т.п.

Пристав Михайлов давно уже получил от отца мальчика пятьсот рублей, и его задачей было - спасти его от жандармов. Но что делать, если тот сам суёт горло под нож.

Тут я должен был прийти на смену Михайлову, миссия которого провалилась, на что Михайлов дал два часа времени, так как должен был срочно доставить мальчика в жандармское отделение.

Признаюсь, что мне тоже ничего не удалось, хоть мальчик всегда относился ко мне с уважением. Слова мои его не тронули. Он стоял на своём -народ важнее отдельного человека, и пусть его сожгут или разорвут на куски - это ему ничего, лишь бы от этого была польза народу.

Матери стало плохо; её привели в чувство. Упав перед ним на колени, она просила со слезами её пожалеть. И он - смертельно бледный, не в состоянии видеть её обморока и слёз, стоял, однако, на своём. И я, к большому своему огорчению, вернулся к себе ни с чем. Буквально ни с чем. Не смог его отговорить.

Железный характер был у этого мальчика, что прямо

поражало.

Конечно, его арестовали и отправили в Москву. Отец поехал за ним. Позволил себе потратить тысячу, в надежде иметь возможность с ним время от времени увидеться. Но и это оказалось невозможным. Мать вскоре умерла.

Юноша приличное время отсидел. Потом, на суде, его, как несовершеннолетнего, вернули в Киев, под надзор полиции.

Домой он приехал потрясённый, травмированный, и не застав матери, впал в тяжкую депрессию и так и остался.

Еврейская община, однако, шла вперёд. Нашлись богатые евреи, не жалевшие денег на большую русско-еврейскую газету, воевавшую с антисемитским "Киевлянином" - газетой, которая, как все грязные антисемитские листки, изо дня в день изрыгала смолу и серу на евреев.

Новая еврейская газета, которая называлась "Заря"[45], выходила в довольно большом формате. Эта газета великолепно справлялась со своей задачей и имела широкий круг читателей. Люди читали, радовались смелым статьям -острым блюдам, которые доставались антисемитам. И еврейское сердце надеялось снова.

Опять же: спасибо за надежды. Хоть на минуту, да ожили.

Глава 19

Управляющий Исроэля Бродского.– Нееврейский недостаток. – Дело.– Рис с изюмом. – Упрямство. – Пропитый товар. – Маслом вниз. – Я перехожу в другой магазин. – Квартиранты.– Липский. – Освистанная пьеса.– Старые раны. – "Харoдский проповедник". – Его влиянье на людей.– Его проповедь. – Харoдский проповедник и Липский.– Печальный конец.

У нас во дворе появился новый сосед, имевший большие связи. Был он управляющим реб Исроэля Бродского на черкасском сахарном заводе.

Получал двенадцать сотен рублей в год и жил с семьёй в усадьбе возле Черкасс. Жена его была близкой родственницей Бродского, и жил он, как граф. Понятно, что в такой большой усадьбе, как у него, было всего вдоволь, и в лошадях с каретами тоже недостатка не было.

Управляющий был очень способный человек и руководил усадьбой и заводом великолепно. Бродский был им очень доволен. Имел он, однако, один серьёзный, чисто гойский недостаток - пьянство. Недостаток этот проявляется постепенно, и чем дальше, тем становится сильней, и кончает человек очень плохо.

Управляющий такого конца не избежал - из-за пьянства он потерял дело.

Реб Ироэль Бродский был вынужден его уволить. Но так как его жена была родственницей Бродского и ради их уже больших и очень удачных детей, сына и дочери, реб Исроэль назначил ему ежегодную пенсию в пять тысяч рублей.

И хоть был он уволен, но семья Бродского его часто навещала. Несмотря на слабость хозяина дома к водке, это был очень красивый и приличный дом.

Я сразу подружился с семьёй управляющего. Меня привлекал его ум, свободная язык, милое обращение. Преодолеть свой недостаток он, к сожалению, не мог. То и дело заходил в ближайший шинок и выпивал стакан водки, иной раз - до шестнадцати стаканов в день.

Ради друга он был способен и в пьяном виде вести себя сдержанно, но всё-таки с ним было приятнее общаться на трезвую голову. И поэтому я специально приходил к нему до того, как он отправлялся в шинок. И он понимал, что я предпочитаю его трезвым.

Иногда, идя в трактир, он нарочно заходил раньше ко мне, если я у него ещё не побывал, и беседовал со мной трезвым языком.

Мы очень друг другу симпатизировали, и однажды он предложил мне должность приказчика. Я спросил, что у него за дело, он ответил, что ему из Одессы пришлют бакалейные товары: рис, изюм, миндаль, орехи - всего на сто тысяч рублей - для продажи местным бакалейным магазинам и отправки в другие города.

Это оказалось не пустой болтовнёй, как можно было ожидать. Тут же он передал мне фрахтовочные документы, и я нанял большой двор со складами для товара.

Но как всегда, делу мешало его пьянство: мне приходилось вставать совсем рано- всё та же история: в деловых вопросах очень мешало его пьянство, и я вынужден был вставать совсем рано, прямо-таки с рассветом, чтобы захватить его ещё трезвым и обговорить, что мне делать.

Должен снова сказать, что это был исключительно умный человек. Каждое его слово было жемчужиной, и он имел на меня большое влияние. Он мне на многие вещи открыл глаза, обогатив опытом, необходимым для молодого провинциала, которым я тогда был.

Он также бывал иногда упрямым. Помню случай, когда это упрямство проявилось особенно характерно. Дело было так.

Он собирался послать в Екатеринослав изюм с рисом на тридцать тысяч рублей, для чего я должен был нанять баржу. После больших хлопот я, наконец, присмотрел хорошую баржу и договорился с хозяином о перевозке товара за двести рублей. Я пришёл и сообщил управляющему, что нашёл очень хорошую баржу, нанял её и дал двадцать пять рублей задатка, и что сегодня вечером хозяин придёт подписывать контракт. Он очень обрадовался.

Но вечером, когда я вместе с хозяином баржи пришёл заключать контракт, он вдруг заявил, что час назад нанял за сто пятьдесят рублей другую баржу - и только та перевезёт его товар.

Мне было досадно, потому что язнал, что хорошую баржу нельзя получить задёшево, и что моя - очень хорошая. Ладно, ничего не поделаешь. Но позже я выяснил, что нанятая им баржа была старой и ненадёжной баржа - старая и ненадёжня и что перевозить на ней такой тяжёлый груз - опасно.

Когда я ему это сказал, он, не дослушав, велел грузить товар. Я, однако, не хотел рисковать таким дорогим грузом и наотрез отказался в этом участвовать. Он рассердился и взял другого человека. Помню, как в ночь на четверг он нагрузил баржу рисом

с изюмом, а ещё через ночь она села в воду.

Услышав об этом, он, задыхаясь, прибежал. Видно, что когда надо, он умел быть трезвым.

"Ради Бога, спасай, я пропал! Прости, теперь я вижу, что ты был прав. Получай двести рублей "награды" и спасай затонувший товар. Его можно высушить и что-то за него получить. Это тридцать тысяч рублей!"

Он был при этом абсолютно трезв.

Но я колебался. Он очень меня рассердил своим упрямством. Потом, однако, когда на меня набросились его жена и дети, прося спасти товар (будто именно я один мог его спасти), мне ничего не оставалось, как взяться за спасение риса и изюма из севшей в воду баржи. Я снял большой двор, купил большие куски брезента, вытащил мокрый товар, разложил его на брезенте и высушил.

Мне для этого понадобилось много людей. Но когда я товар таким образом, с большим трудом и мученьями высушил, то выручил за всё пять тысяч рублей - вместо тридцати.

Его этот случай сильно потряс, и он ещё больше пил.

Семья Бродского, из сочувствия к жене и детям, ещё посещала дом бывшего управляющего. Но однажды, когда Бродские как раз были у него в гостях, он пришёл смертельно пьяный и свалился на пол. На Бродских это произвело очень тяжёлое впечатление, и больше они уже не приходили. А он ещё полгода сильно пил, а потом умер.

Ах, какой же умный, какой же милый это был человек! Да, сгубил его нееврейский порок - пьянство!

У меня, как говорится, дело шло так себе. Промучившись два года на Андреевском спуске я переселился на другую улицу, имени которой я уже не помню, помню только, что открыл там небольшую бакалейную лавочку.

Во-первых, у меня уже было мало денег. Во-вторых, это было не такое место, где можно было вести дело широко и энергично: там просто не хватало покупателей. Там жила беднота.

Как принято у евреев в трудном положении, я нанял квартиру с двумя лишними комнатами в расчёте на жильцов. И тут же один молодой человек снял у меня комнату с отдельным входом. Он готовился к экзаменам в университет. Присмотревшись, я почувствовал к нему симпатию. Во-первых, он хорошо знал Талмуд и мог выдать красивое толкованьице. Во-вторых, он был трогательным, деликатным созданием.

Он мне рассказал, что он - сын виленского раввинского судьи и считался илюем, но захотел получить образование и бежал в Житомир, где поступил в раввинскую школу[46]. Директором там тогда был реб Хаим-Зелиг Слонмский.

Школа закрылась, он приехал в Киев - поступать в университет. Дальнейший путь был ему ясен - окончить университет любой ценой.

Но жить ему было не с чего.

Будучи здоровым и ловким юношей, он пришёл на мельницу Бродского, стоявшую на берегу реки, и попросился таскать мешки с мукой с мельницы в магазин за обычную плату подённого рабочего в шестьдесят копеек в день. Его взяли, и он целый день таскал мешки с мукой. Вечером мылся, переодевался и, познакомившись со студентами, расспрашивал их насчёт уроков. Набрав на целых шестьдесят рублей в месяц, отказался от работы на мельнице и стал готовиться к экзаменам.

Удивительно: на всё у него хватало времени, и по ночам мы часто проводили часа два в разговорах.

В то время приехала в Киев антисемитская труппа и сыграла в Летнем театре пьесу, очень обидную для евреев. Липский - так звали моего соседа - знал уже содержание пьесы и специально пошёл со своими товарищами на представление послушать, как евреев оскорбляют со сцены.

Вернулся он из театра больной и весь кипел. Оскорбляли евреев со сцены грубо и отвратительно оскорбляли евреев. Неевреи имели удовольствие: они заполнили театр, хлопали и кричали "Браво!". И не было никого, кто бы засвистел. Несколько евреев, сиротливо ютившихся в театре, свистеть боялись.

Больно было смотреть на моего юношу.

А антисемитскую пьесу продолжали ставить.

Что делать? Как сделать так, чтобы все еврейские студенты и просто молодые люди, пришли и освистали эту грязную пьесу, начиненную глупым и грубым антисемитизмом?

Я спросил юношу, знает ли его Элиэзер Бродский[47], видел ли он его когда-нибудь у себя на мельнице. На что он мне ответил, что Элиэзер Бродский однажды пришёл на мельницу и увидел, как он несёт на плечах мешок с мукой.

"Он узнал, что я еврей, и очень удивился: как это - еврейский юноша не боится таскать мешки вместе с босяками! Он меня подозвал и спросил, откуда я и разве нет у меня получше и полегче способа заработать на жизнь, чем таскать мешки с мукой? Еврей ведь человек слабый.

"Я ему, понятно, рассказал, - продолжал он на одном дыхании, - что приехал сюда готовиться в университет, но пока не имею, с чего жить. Днём я работаю у него, вечером ищу знакомых, а ночью занимаюсь. Он вынул пятьдесят рублей и дал мне. Но я не взял, сказав, что не принимаю милостыни. Я желаю зарабатывать только своим трудом. Богачей я ненавижу, - сделал

он кислую и энергическую гримасу - и не хочу от них никаких одолжений".

Но мне пришла в голову идея.

"Слушай, Липский, - а ради израильского народа ты бы обратился к богачам?"

"Ради этого - да".

Я посоветовал:

"Иди к Лазарю, расскажи всю историю с антисемитской труппой и предложи ему купить несколько сот билетов, чтобы их раздали среди еврейских юношей. Будет тогда, кому освистывать".

"Идея, чтоб я так жил!" - ухватился он за мои слова.

Так и получилось. Липский пошёл к Лазарю и вернулся от него радостный - тот согласился купить две трети билетов и послать своих приказчиков раздать их среди евреев. Чтоб только тот, кто согласится свистеть, получит билет.

Всё прошло, как по маслу.

Назавтра ходили молодые люди и бесплатно раздавали билеты в театр. Липский старался вовсю. Его радости не было границ.

И вечером, только труппа заиграла свою грязную пьеску - все евреи засвистели и затопали ногами. Такой получился свист, что сохрани Бог.

Полицмейстер тоже находился в театре. Он испугался большого скандала и велел прекратить игру. Двадцать человек студентов и других евреев, в том числе и Липский, были арестованы.

Назавтра, как полагается, Лазарь Бродский и ещё два миллионера пошли к генерал-губернатору и рассказали, что труппа сеет ненависть между народами, настраивая один народ против другого и т.п. Губернатор послал за директором труппы и приказал в двадцать четыре часа покинуть Киев и его округ. Арестованных освободили.

Понятно, что случившееся было не таким уж значительным фактом, но с нашей радостью ничто не могло сравниться. Мы своего добились, и это уже было немало.

Липский пробудил во мне старые раны в смысле образования и, говоря с ним, я страшно сожалел о моей пропавшей юности, моей энергии и бодрости, о желании стать казённым раввином, о большой работе на пользу общества, о моих мечтах и надеждах.

Этот юноша был свободен и здоров. Зависть вызывала его крепость и сила, его пыл и жар. Конечно, он чего-то в жизни добьётся. А я? Я - связанный, я пленник, бедный искатель заработка, человек, пришибленный в мыслях и мечтах. И я ему

глубоко, глубоко, до большой боли, завидовал.

Вот это - энергия, думал я с горечью. Человек таскает мешки, даёт уроки и готовится в университет! Вот это - характер! Таскать мешки и учиться! Учиться и таскать мешки. А я был слаб и остался стоять посреди дороги - ни туда, и ни сюда.

Но иногда, в такие тяжёлые минуты, я находил себе также и оправдание: у меня - жена и ребёнок слишком рано женился. В жене - большая сила но в ней и помеха. Но от таких оправданий было не легче - это ведь была только отговорка.

С Липским мы очень подружились. Иногда беседовал до поздней ночи. Он был одним из первых социалистов, наводнивших тогда, откуда ни возьмись, еврейскую улицу, и из шестидесяти рублей, которые он имел в месяц, отдавал своим бедным товарищам рублей тридцать-сорок.

Питался он простым солдатским хлебом с куском селёдки и запивал чаем; а на обед тратил каких-то пять копеек. Он много занимался и много знал и скоро стал популярен у местной молодёжи.

Изо рта его сыпался жемчуг, голова - огонь, настроение - ясное, как весенний день.

Он также имел очень тёплое еврейское сердце, и эта теплота также завоёвывала ему друзей. Студенты-христиане смотрели на него с большим почтением.

Если мой первый квартирант был такой удачный, то мой второй был ещё удачней. Имею в виду известного гродненского раввина, проживавшего в Минске. В это время он как раз прибыл в Киев. Естественно, его тут же посетил реб Лейб Шапиро и просил остаться в Киеве на две недели.

Магида, а в особенности, гродненского, навещало много народа, для чего требовалось иметь приличный дом, где он мог бы жить и принимать гостей.

И реб Лейб решил, что магиду следует поселиться у меня. Реб Лейб знал, что я жильца. И когда он мне это вдруг предложил, я с удовольствием согласился.

И магид перебрался ко мне.

Нечего и говорить - магид был большой человек и большой знаток, страшно умный и начитанный, а язык имел - я ещё такого не слыхал в жизни. Язык был его оружием, его артиллерией, его пушкой, им он мог зажигать людей. Слыша его речи, каждый одушевлялся, трепетал, и его влияние на людей было страшно большим.

Как очень набожный еврей он был - сплошная духовность: жил очень бедно и просто и всю неделю питался одним чёрным хлебом с кислыми огурцами. Только в шабат и праздники

позволял себе есть получше, как велит закон - мясо, рыбу и все деликатесы.

Свой скудный "обед"- хлеб с огурцами - он ел дважды в день, в двенадцать дня и в шесть вечера.

В квартире моей бывало полно народу. Поев хлеба с огурцами, магид перед ними говорил. Но, Боже милостивый, что это была за речь! Словно золото струилось. Я стоял, поражённый, и слушал, и слушал.

Уж я, кажется, не держался ничего того, о чём он говорил - веры, благочестия, господнего служения, Бога, Бога, Бога. Но как он говорил? И я чувствовал, как стучит моё сердце.

Понятно, что реб Шапиро у него уже дневал и ночевал и служил ему прямо, как слуга.

Потом его попросили произнести свою проповедь в большом копухинском бет-мидраше[48]. Магид согласился. Тогда решили выработать план - как устроить такой порядок во время проповеди, чтобы могли собраться тысяча человек. Попросту опасались катастрофы. Набожные молодые люди взяли на себя труд обеспечить порядок.

Естественно, что Липский, как апикойрес и социалист, отнёсся к магиду подозрительно и ни разу не появлялся у того в комнате. Но мне захотелось, чтобы они встретились. Два поколения - как это будет выглядеть?

Но Липский вскинулся:

"Говорю вам - он жулик. Зачем это нужно?. Жулик и есть жулик".

И не пожелал идти знакомиться.

В вечер проповеди шуль был набит лучшими евреями города. Магида пришли послушать даже студенты и подобные интеллигентные молодые люди.

Он стоял на возвышении, а я и реб Лейб - по обе стороны. Он говорил полтора часа. Это была его типичная проповедь, в которую забрасывались яркие словечки и разные противопоставления, и астрономия, и мироздание, и физиология, и этика, и т.д., и т.п.

Удачной, мне думается, его проповедь на этот раз не была. Молодёжь осталась холодна. Может, он себя плохо чувствовал? А может, настроение молодёжи воспротивилось и не позволило себя победить словам магида?

По-видимому, великий мастер слова сам тоже не был доволен своей проповедью. Печаль его охватила, и, закусив губы, он распустил шуль. А набожные евреи, напротив - очень были довольны проповедью.

Магид был раздосадован. И как-то в момент досады

высказался, что мог бы поспорить с величайшими апикойресами своего времени и их победить.

Это меня тоже задело. Почему такая уверенность? И я сказал, что тут, у меня, в соседней комнате, живёт один молодой человек по фамилии Липский, который был илюем, а теперь стал - не о нас будь сказано - большим апикойресом. Вот я его позову из интереса, и пусть магид проведёт с ним дискуссию.

"Я бы очень хотел, - сказал я,- чтобы магид его победил, чтобы он отбросил своё безбожие и взялся бы лучше за ученье. Было бы больше пользы сказал я со скрытой иронией. - Но как я с ним ни мучился, всё напрасно. Он остался при своём. Крепкий парень, со страшной силой воли".

Магид подумал и согласился. Я позвал Липского, который на этот раз с удовольствием согласился прийти. В нём взыграло его самолюбие: старый магид захотел его победить.Я освободил ему место, прямо напротив магида, и вместе с людьми, находившимися в этот момент в доме, открыл рот и навострил уши.

Пылкий Липский не стал дожидаться, чтобы магид начал, и первый вылез со своим языком.

Но тут я спохватился, что вся история, всё это с моей стороны - глупость. Два поколения друг с другом не договорятся. Два поколения могут говорить друг с другом только на немых страницах истории, но не как два живых представителя этих поколений.

Липкий тут же стал закипать, бросаться, кричать и даже осмеивать магида. С истинной дерзостью гордого, способного и горячего молодого человека он ему не дал говорить.

Магид побледнел и не находил слов Липский воспользовался случаем и молол, как ветряная мельница.

Конец был совсем отвратительный. Стоило магиду заговорить о чудесах, как Липский вскочил, сплюнул и нагло выпалил:

"Старая скотина!" - и выбежал из комнаты.

Это было совершенно неожиданно и неслыханно безобразно и грубо, стыдно было поднять глаза, на магида взглянуть. Но он вдруг встал и сказал:

"Завтра я уезжаю".

Понятно, что со мной он больше не хотел разговаривать, и я потерял своего истинного, доброго друга, реб Лейба Шапиро. Реб Лейб Шапиро считал, что в этом безобразном скандале полностью виноват я, что такого разнузданного малого, как Липский, я не должен держать у себя в доме квартирантом. Не помогли мои оправдания.

Назавтра магид уехал, со мной не разговаривая. До сих пор

меня по-настоящему огорчает то, что из-за меня магид в Киеве пережил несколько тяжёлых минут.

Практический вывод: старым с молодыми не следует спорить - это два разных поколения.

Глава 20

Русско-турецкая война. – Патриотические настроения среди евреев. – "Мы победим!" – Александр Второй. – Надежды на лучшее. – Плохо без заработка.– Пустеют полки. – Сторицкий. - Дело с пекарней.– Воровство.- Слишком честный.– Победа России. – Евреи радуются. – Что делать? – Опять сожаления. – Снова в путь. – Харьков.

Началась русско-турецкая война. Власти искали подрядчиков, не делая никаких различий между евреями и неевреями. Для евреев забрезжила надежда на заработок. Десяток евреев в Киеве получили подряды, как большие, так и малые.

Подрядчики отправлялись вместе с армией всюду, куда она двигалась. В Кишинёве стоял главный штаб. Там же находился и царь.

Интересно, как тогдашние евреи относились к войне. Они были настроены в высшей степени патриотично. И не будет преувеличением сказать, что почти все евреи были готовы идти в огонь и воду ради победы родины, как если бы это была еврейская война с еврейскими генералами и министрами, а евреи бы имели в стране все свободы. Эти настроения, конечно, родились оттого, что во времена Александра Второго отношение правительства к евреям немного смягчилось, улучшилось, стало благожелательней.

Казалось, что тяжкое бремя галута, с облавами, с "чертой", со всеми бедствиями - исчезло, и евреям стало легче дышать. Еврей мечтал о победе России, прямо дрожал из-за каждого клочка земли, который могли захватить турки.

Много еврейских девушек записалось в милосердные сёстры, а интеллигентные молодые люди добровольно и с воодушевлением пошли на войну.

И помню, что когда русская армия легко, без кровопролития, пересекла реку Дунай, многие евреи так радовались, что люди танцевали на улицах, где царили радость и веселье. Между собой людиговорили:

"Мы захватим, мы победим!"

На Крещатике, на еврейской бирже, на тротуарах оживлённых улиц, бегали озабоченные евреи - купцы, маклеры и фабриканты, мелкие торговцы, рабочие и нищие, и говорили в большом волнении о войне. При этом гордились царём, вне себя от его доброты, его нежного сердца, восхваляли его и с восторгом

спорили обо всех реформах, которые он провёл и ещё проведёт.

И с особым удовольствием перечисляли все те хорошие вещи, которые царь провёл за время своего пребывания на троне: сократил военную службу с двадцати пяти лет до пятнадцати, запретил телесные наказания солдат, освободил крестьян из крепостного состояния, реформировал суды, сделал некоторые уступки евреям и другим народам и т.п. Это было такое время, которое тот, кто его пережил, уже не забудет.

До тех пор я о заработке ещё не беспокоился о заработке, но тут стал искать способа, как в этом отношении устроиться.

Выручка в магазине становилась всё слабее и слабее. А у меня ведь имелись обширные и влиятельные знакомства - среди богатых людей, готовых мне помочь с выручкой, но для этого я должен был иметь больше товара, просторнее магазин - и на это мне не хватало денег.

Я уже говорил, что не умел жульничать, крутиться, хватать, комбинировать, как все деловые люди. По этой же причине я не смог стать настоящим арендатором, как все в моей семье, кто получил усадьбы дороже стоимости их капитала, а потом крутился и жил себе с миром.

Крутиться я не умел. Я также не хотел надрываться. Жить спокойно - вот всё, что я хотел. Спокойно, скромно, без лишнего богатства, - чтобы позволить себе почитать книгу, сделать что-то на пользу общества, заниматься духовными вопросами. Более того: я всегда ненавидел людей, погружённых душой и сердцем в дела, - кто копит, тянет, рвёт деньги и ни о чём не беспокоится, кроме своего гешефта, кроме своей выгоды.

И втайне признаюсь (чтобы не слышала моя жена), что в глубине сердца я смеюсь над большим миллионером реб Израилем Бродским с его сахарным заводом, с его большими делами, с его неслыханным шумом и суетой. Для чего богатство и шум вокруг богатства? Разве не лучше - скромная жизнь, хорошая и нужная работа на пользу обществу, тихий дом и душевная компания милых и добрых друзей? Для чего нужны деньги? Для чего весь этот убивающий душу и сердце тарарам? Но жить-то надо - и всё, чего я желал, как сказано, это иметь какой-то надёжный доход.

Но этого-то и не было. Полки всё больше пустели, стало не хватать денег - не на что было купить товар, и с квартплатой - беда.

Случилось так, что один русский по фамилии Сторицкий взял подряд на доставку полу- миллиона пудов сухарей для армии. Требовалась мука, пекарня, и человек, который будет печь из муки, доставленной из Белой Церкви. Меня для этого

порекомендовали, и я был взят.

Прибыл первый транспорт с двумя тысячами пудов муки. Я взвесил муку в пекарне, оказалось - две тысячи двадцать пудов. Получив квитанцию от того, кто доставил муку в пекарню, я обнаружил, что в квитанции записано не две тысячи двадцать пудов, а две тысячи двести двадцать.

Я ему сказал тому, что тут ошибка, что имеется не более двух тысяч двадцати пудов. Он ответил, что ошибся я, и стал тут же меня упрекать в том, что я не гожусь для этой работы, если допускаю с первым же транспортом такую большую ошибку. Я заявил:

"Нет, вес именно такой. Взвесьте сами".

Но тот не хотел со мной больше разговаривать.

"Какое ваше дело?" - закричал он наконец сердито, увидев, что ничего не может со мной поделать. - Не вмешивайтесь в это. Пусть хозяин беспокоится".

Через два дня прибыл мучной подрядчик, христианин, я сделал вид, что ничего не понимаю, и рассказал ему историю с "ошибкой", то есть, что в полученной мною квитанции вес завышен на двести пудов. Я спорил, рассказал я, но мне сказали, что не моя забота - то, что записано больше.

Мучной подрядчик выслушал меня и уволил с должности как не умеющего считать.

Я рассказал историю тому, кто меня рекомендовал подрядчику. Тот мне сразу на это заметил, что мучной подрядчик таки сильно ему сетовал, что еврей, Котик, поступил как-то не по-человечески, и что он этого себе заранее не представлял. Он-то считал, что с евреями можно делать настоящие дела. Оказался уж слишком кошерный еврей, наивный и - когда ему пишут в квитанции больший мучной вес - выступает против и не берёт квитанцию. Хочет, чтобы был указан настоящий вес фу!

Так я и остался без должности, мучной подрядчик взял на моё место немца, тоже "по рекомендации", и пошла работа. Переслали массу муки, и воровство было страшное. Квитанции шли на очень большие суммы, почти вдвое большие, чем было муки.

Через несколько недель подрядчик Сторицкий спохватился, какое большое воровство устроил хозяин над всем, мучной подрядчик. Никакого процесса Сторицкий не затеял, но мучного подрядчика с должности уволил.

Этот Сторицкий как следует изучил дело и заодно выяснил, что первым человеком, поставившим муку, был еврей, который очень честно себя проявил - не захотел взять первую квитанцию, в которой уже была фальсификация. И его за это уволили.

Сторицкий меня тут же разыскал и, передав всё дело под моё наблюдение, назначил мне приличное жалованье. Сторицкий, кроме того, сильно меня обнадёжил - что потом, когда кончится война, он возьмёт меня к себе в дело, что я, одним словом, заживу.

Но недели через четыре Сторицкий обанкротился - как видно, из-за большого воровства мучного подрядчика. Ещё до банкротства сгорела пекарня. Очевидно, это была прелюдия к банкротству и конец должности.

Сторицкий получил страховых денег шестьдесят тысяч рублей и уехал насовсем из Киева. А я остался опять бедным торговцем с пустыми полками.

Война, как известно, закончилась победой России. Плевна пала, и новость так всех обрадовала, что евреи пили "ле-хаим", как на очень весёлом, с участием уважаемых семейств, обряде обрезания.

На бирже, где восторг был особенно сильный, говорили об отправке царю приветственной телеграммы, в которой он будет назван, кроме как "царь милостивый", ещё и Александр Великий.

Слово "Великий" очень понравилось киевским евреям и тут же распространилось по всем еврейским домам и домишкам.

По ряду причин депеша была послана не от имени киевской еврейской общины, а от упомянутых в ней кругов, и осталась без ответа. Настроение было повышенным, будто в жилы влили свежую кровь, и долго, долго, даже уже после войны, люди не могли успокоиться.

Пока общество волновалось, я забыл думать, на каком я свете. Но когда стало спокойнее, я увидел, что остался совсем без хлеба. Что делать?

В Харькове жил мой родич, реб Хилель Фрид. Его отец и моя бабка, Ривка-Хеня, гродненская раввинша, - были братом и сестрой. Родич этот, как мне стало известно, - очень богатый подрядчик по железным дорогам и мостам, и держит он, может, сорок приказчиков.

И при наличии такого дяди, такой, как я, шлимазл - должен к нему ехать.

А что ещё было делать? Другого выхода не было.

Уехать из Киева, однако, оказалось так трудно, так трудно, было так много душевных друзей, хороших, близких людей, с которыми я сжился. А тут - возьми и брось всё и езжай на поиски заработка к незнакомому богатому родичу.

Кто знает, как он меня примет? Кто знает, найдётся ли для меня занятие?

Ехать мне, однако, приходится: оставаться - просто пахнет

голодом. И я сажусь на пароход, идущий через Днепр, и - марш в Харьков.

Всю дорогу я был мрачен и задумчив. Сердце болело по Киеву. На пароходе было тесно. Здесь еврей, там еврей. Говорят, смеются, шутят. Но я молчал.

Я часто думал о том, что родители мои жили лучше. Сидели на одном месте, воспитывали детей, жили спокойно, не мотались, не скитались, не знали тяжёлых переживаний, переполнявших моё сердце на пароходе.

Я себя так измучил мыслями, что не различал все эти сутки, еду ли я на пароходе или сижу где-то дома. Я, к тому же, не ел.

В Харьков я, однако, прибыл. Это было в теша-бе-ав днём. Поехал сразу к Фриду и сразу попал на похороны: умер бухгалтер - хороша встреча! Все были целый день озабочены и только к вечеру удалось с кем-то поговорить. У меня по спине бегали мурашки.

Глава 21

Мой родственник, реб Гилель Фрид. – Плохой экзамен. – Тяжёлые мысли. – Мои детские годы.– Война между "русскими" и "турками".– Я - царь.– Дырка в голове.– Оплачено. – Дела Фрида. – Поляков. –Дом Фрида. – Меня берут на работу.– Старый губернатор. – Дочь Фрида. – Филантроп. – Лифшиц. – История с письмом.

Как сказано, увидеться со своим родичем я смог только к вечеру, после похорон. Ему уже дали знать, что приехал гость - молодой родственник.

Он вошёл в комнату, поздоровался и спросил, как было принято, кто я такой. Когда я ему сказал, кто я такой, он мне ещё раз дружески пожал руку и тут же прозвучал прямой и резкий вопрос: что я делаю в Харькове.

Я ему рассказал о своих бедах и скитаниях, о том, что до сих пор не устроен. Был арендатором, продавцом, даже меламедом, и всё никак не добьюсь толка. Есть жена и дети - пусть будут здоровы - но карманы пусты. Нуждаюсь в должности. Не мог бы я её получить у него? Нет ли у него для меня какого-нибудь места?

"Место?" - Потянул носом мой родич. - Вот только что умер мой бухгалтер. Получал две тысячи рублей в год. Не хотите ли на это место?"

В последних его словах я почувствовал иронию.

"Я - не бухгалтер"

"А что же вы умеете?" - бросил он на меня острый взгляд.

Я не знал, что ответить.

Он продолжал:

"Я имею подряды на строительство железнодорожного вокзала и более тридцати приказчиков. Сидят они каждый на определённом отрезке дороги. Но вы во всём этом деле явно новичок. Мне подходит холостой человек. Начав со скромной должности и проработав что-то около года, он, имея способности, постепенно продвигается вверх. Но человек с женой и детьми и при этом незнакомый с моими делами - на что он мне годится?"

Фрид явно был прав. Действительно - на что я ему гожусь?

Видя, что я сижу совсем убитый, он меня позвал к чаю.

Вечером пришли по делу разные люди. Он со всеми говорил, в квартире стоял шум, как всегда у больших дельцов.

Ах, как мне знаком этот шум!

Покончив с делами, Фрид меня пригласил к себе в кабинет.

Мы там долго беседовали. Под конец он мне сказал, чтобы я не огорчался, не грустил - может, он попозже найдёт для меня какую-то работу. Родные жены захватили все места.

У губернатора в доме предстоит большой ремонт. Может там мне найдётся работа.

"А пока - живите у нас и развлекайтесь".

Фрид меня вроде бы успокоил, но перед сном в постели меня одолели тяжёлые мысли. Что за работа может быть для меня у Фрида? Ну - проболтаюсь я два месяца у губернатора - что дальше? Дальше - зима, а зимой у него - никакой работы, и платить он не платит, и что тогда будет со мной? Что я буду делать? Сидеть у него и есть?

И мне думалось в большой богатой комнате, где я лежал и не мог заснуть, что я дошёл до берега, до большого пустынного берега, где найду свой конец.

Мне стало страшно одиноко, и невольно вспомнились разные моменты моей юности - светлые, радостные, беззаботные, когда сердце не знало забот о заработке. Вот - праздник Лаг-ба-омер[49], я устроил войну между мальчиками. Всполошил весь город. Каждый мальчик явился на войну с железной сабелькой, которые я заказал у жестянщика по тридцать три копейки за штуку, а для себя. - особенную сабельку, за шестьдесят копеек. Мальчики разделились на два враждебных народа, на два лагеря, на два царства, Турцию и Россию. Меня короновали русским царём, в моей армии было тридцать три мальчиков, по числу "Лаг"; то же и у "турок". Оба военных лагеря пошли в горы, за версту от Каменца. Там я со своей армией захватил одну гору; "турецкий царь" Авреймеле, сын Лейбы Поляковича, встал со своим войском на другой горе и гордо взирал на наш лагерь.

Потом сбежали в долину. Биться, не дай Бог, друг с другом, в наши стратегические цели не входило. Цель была - только быстро взбежать из долины обратно на гору, и чьё войско это сделает быстрей -тот победит

Скажу не хвастая, что моё войско достигло вершины первым. Но "турецкий царь" не хотел этого признавать и кричал, что я его обманул: взобрался не на такую высокую гору, как он - и только поэтому оказался там раньше.

Понятно, что мы это восприняли со стороны турок как оскорбление, и начиналась война. Имея в своём распоряжении армию - кто будет терпеть оскорбления, и оба лагеря начали бросать друг в друга песок и землю с одной горы на другую с такой энергией и быстротой, что аж небо почернело. Но песок и земля - это такой товар, что сильно повредить не может - в крайнем случае в носы забьётся пыль.

Но плохо было, когда турецкий солдат поднял камень и лично мне сделал в голове настоящую дыру, и пошла кровь.

При виде крови солдаты обоих лагерей испугались разбежались по домам. Счастье ещё, что не напали на нас по дороге никакие шейгецы с собаками, как трагически закончилось, лаг-ба-омеровская история нашего дорогого Шолом-Алейхема[50].

Отец сазу же обо всём узнал и послал записку меламеду, чтобы тот меня выпорол. Раби не заставил себя просить и тут же исполнил приговор. Это был единственный раз, когда я получил порку, наверное, за то, что захотел стать царём.

Такие-то истории я вспоминал, лёжа в чужом богатом доме, и они меня не развеселили. На душе было горько и кисло.

Через несколько дней я стал замечать то, что происходит в квартире. У Фрида были способные дети. Двое сыновей ходили в университет, а из трёх дочерей одна была знаменита своей красотой. Её называли юной красавицей юга. Она также была певицей, давала с большим успехом концерты и вообще была очень, очень способной.

Дела у Фрида шли блестяще, и десятки его приказчиков двигали дела, энергично и методично - точно, как колёса машину.

А в те недели, когда никакой работы не было, как я потом заметил, приказчики наполняли квартиру весёлым шумом, всё бурлило и кипело, и всякий мог тогда позавидовать этому дому - его большим, богатым делам и способным детям.

Сам Фрид когда-то учился в Воложине, где провёл целых шесть лет, был известен как большой знаток. Отец его, реб Симха-Залман, внук реб Хаима Воложинера, тоже был учёным и богатым евреем и имел славу мудреца.

Позже Фрид стал зятем могилёвского Цейтлина. Цейтлин был из больших подрядчиков и дал приданого за своей дочерью пять тысяч рублей. Реб Симха-Залман, со своей стороны, выложил тысячу рублей.

Молодой Фрид познакомился с подрядами у своего тестя Цейтлина. Но тесть со временем обанкротился, и Фрид тоже остался почти без денег. Имея при себе пятьсот рублей, поехал с ними в Харьков к одному инженеру, который работал с его тестем Цейтлиным в добрые старые времена.

В Харькове инженер дал ему "подряд" на доставку метёл для очистки снега с железнодорожной линии, и Фрид заработал за две недели полторы тысячи рублей.

Инженер оценил таланты Фрида, остался очень им доволен и тут же поручил ему доставку щебня для линии. Фрид тогда заработал за полгода шестьдесят тысяч рублей!

Имея такую сумму, он теперь уже двигался вперёд легко и

быстро. Он получал подряд за подрядом и в один год собрал сумму в двести тысяч рублей и прежде всего откупил дом Полякова, в котором тот жил до своего отъезда в Москву. Это был большой дом, окружённый цветущим садом, в стиле старинных русских поместий: с редкими видами деревьев и цветов, с аллеями и живописными ручейками.

Особенно красивой у него была купальня. Цвели там цветы, стены были разрисованы, вода - прозрачная, и особенная весёлость проглядывала во всём. На стене висел плакат: в такой-то и такой-то час купается губернатор, в такой-то и такой-то час - семья Фрида, а в ещё в какой-то - некий граф - и т.п.

Сам Фрид, как я узнал через какое-то время, был очень широким человеком и проживал в год немало денег. Говорили, что расходов у него - сорок тысяч рублей в год.

Держался он, однако, вполне на еврейский лад: по утрам молился, потом занимался и строго соблюдал субботу. Был у него даже очень красивый шалаш для праздника Кущей, разрисованный и разукрашенный, как маленький дворец, с двумя высокими флигелями.

Будучи, наконец, приставлен к "работе", то есть, к ремонту губернаторского дома, я очень страдал от фридовского надсмотрщика - толстого, дикого, крикливого и злого еврея. Помню, как я не мог вынести его грубых криков и просто плакал из-за него. Однако ничего не мог поделать, поскольку этот надсмотрщик был большим специалистом, исключительно понимал, что надо делать, и Фрид был им весьма доволен.

От его поведения страдали все, но приходилось молчать. Под его зорким взглядом вращались огромные дела Фрида, чьей жене, которую этот надсмотрщик часто задевал грубыми выражениями и криками, тоже приходилось молчать.

Мне тоже приходилось кусать губы и молчать. Кто мог идти против всемогущего надсмотрщика? Зато меня сильно заинтересовал губернатор, очень способный и либеральный человек. Его жена и дети были за границей, и он один своим добродушным спокойствием следил за тем, чтобы не запороть ремонт:

"Тут - цепочка... тут - крючок... тут получше намазать", - просил он, как ребёнок. А потом каждого тепло одобрял:

"Вот так, так, молодец..."

Особое впечатление на меня произвела его спальня. Это была на редкость красивая спальня. Стена рядом с его кроватью была затянута дорогим ковром, на ковре - всякое оружие: мечи, сабли, кинжалы, ружья, пистолеты и т.п. Многие кинжалы и мечи

принадлежали раньше разным царям. Оружие это сверкало золотом, серебром, жемчугом и бриллиантами, которыми были украшены их рукоятки.

В спальне я работал целый день. Губернатор всё мне показал, что я должен был делать, и слушая его, я одновременно смотрел на ковёр с оружием. Так и тянуло на него смотреть.

Жил я у Фрида в гостинице. Мне было не очень весело, зато они жили хорошо. Дочь Фрида, знаменитая красавица, уехала в Ялту. Не то чтобы, не дай Бог, ей чего-то не хватало, - поехала она в поисках больших или более земных удовольствий.

Была она хорошей наездницей, и в Крыму ежедневно выезжала на высокий берег в обществе представителей русского высшего света. Этот её Крым немало папаше стоил.

Вернувшись из Ялты, она отправилась с отцом в Петербург. Он ехал для получения подрядов и пробыл там месяц. Денег там потратил немало. Швырял их во все стороны и жил в своё удовольствие. Когда едешь за подрядами, можно себе позволить не скупиться.

По окончании моей работы у губернатора Фрид меня передал в контору харьковского вокзала, где обычно находился надсмотрщик. Мне это очень не понравилось - к губернатору этот надсмотрщик Гнодман приходил только по утрам на четверть часа, чтобы дать мне работу на день и проверить ночную. Но тут мне пришлось находиться целый день под его злобным взглядом и мерзким языком, и по временам меня охватывал ужас. Но что делать - надо молча терпеть: дома жена и дети.

Гнодмана больше всего раздражало то, что я был деликатнее его приказчиков, раздражала моя непрактичность, мои белые руки, за что он мне ещё больше отравлял жизнь.

Нас, своих рабочих, он издёргал до того, что у нас осталась одна тема: Гнодман. Как только он уходил, мы тут же, переводя дыхание, начинали:

" Гнодман - разбойник!"

"Гнодман - мучитель!"

"Человек без сердца!"

"Ужасный тип!" и дальше в таком роде, как рабы, когда им одну минуту не грозит бич.

Вечера я проводил у Фрида, где было весело. Приходили богатые молодые люди, и начинался бал. В столовой расставляли длинные столы с обильной закуской. Красавица Берта прекрасно играла на рояле, а её младшая сёстра подражала Саре Бернар, игру которой она наверное где-то видела.

Если вокруг Берты сидели в восторженном молчании, то вокруг младшей весело смеялись. Помню, как однажды она

пародировала медленно умирающую даму: уменьшили в лампе огонь, и, бледная как смерть и немая, она медленно тащилась к кушетке. Вот потускнели её глаза, в последний раз шевельнулась рука, вздрогнули брови и остались неподвижны - конец. Тоже, конечно, слизнула у Сары Бернар, но на публику производило сильное впечатление.

Так проходили вечера.

Но мне в горло не лезла никакая радость, и любил я только игру Берты на рояле, которая навевала тоску, удивительно гармонируя с моими мрачными мыслями. При этом я изредка забывался, будто заливая себя звуками.

Если Берта не играла, я предпочитал с кем-нибудь в уголке общаться. Со мной вместе жил очень оригинальный еврей по имени Лифшиц. Своим бойким языком он был способен влезть человеку в печёнку. Однажды он написал харьковскому генерал-губернатору, знаменитому Лорис-Меликову, письмо. Он написал, что он еврей, что совсем подыхает, и просил у генерал-губернатора не более и не менее, как казённую должность, поскольку он, Лифшиц, жив только божьим соизволением, буквально не имеет, что есть.

Лорис-Меликов ему ответил, предложив явиться к нему в такое-то время и получить должность. Но, явившись в назначенное время, не был принят: Он стал ругаться и кричать на чиновника:

"Что это такое, где это слыхано, чтобы генерал-губернатор не держал слова! Так поступают только маленькие люди. Это безобразие! Его слово должно быть чистым, как дукат!

Лучше сравнения он не мог придумать.

На его крики последовал из генерал-губернаторского кабинета приказ чиновнику - арестовать его на два дня.

Понятно, что молодого человека взяли под руки и посадили.

После освобождения он стал ещё более раздражительным и накатал графу длинное письмо в еврейском стиле. Тон письма был правда спокойный, но очень возвышенный, с шутками и прибаутками, как было принято в доброе старое время. Письмо было прочитано им целой кампании студентов, среди которых был и я, и наших глазах положено в конверт, заклеено и заадресовано.

Студенты- живые, беззаботные люди, подбрасывали его вверх и хлопали по плечам.

Через несколько дней явился офицер с бумагой от генерал-губернатора. Я в это время сидел у Лифшица в комнате. В письме объявлялось, в ответ на его письмо граф шлёт сто рублей, но никакой должности предложить не может.

Лифшиц его вежливо поблагодарил, а денег не взял. Последнее особенно растрогало офицера.

"Денег ты не берёшь, но прошу тебя - обратился офицер мягко к Лифшицу, - не пиши больше графу писем. С генерал-губернаторами не шутят".

"Да нет уж - больше писать не буду", - обещал ему Лифшиц, и сдержал слово.

История эта, как хороший анекдот, была очень популярна среди моих тогдашних знакомых, и Лифшиц не без гордости иногда говорил:

"Можно быть евреем и влезть в глотку самому генерал-губернатору".

Однако большой вопрос - захотел ли бы он нынче что-то в этом роде сделать. Нынче такой Лифшиц, при такой своей энергии, скорее уехал бы в Америку.

Глава 22

Ремесленное училище.– Его открытие.– История с дверцами. – Неприятности от Гнодмана. – Новый управляющий.– Я не выдерживаю. – Снова скитания.

Фрид закончил строительство ремесленного училища, на которое Поляков ассигновал двести тысяч рублей, и генерал-губернатор с комиссией инженеров осмотрел здание. Здание ему понравилось и он благодарил Фрида

Мой родич доложил для этой цели из своих денег. Подрядчик с такого подряда мог бы взять несколько сот тысяч рублей, а Фрид ещё доложил пять тысяч.

Открытие училища было отмечено очень торжественно. Присутствовал граф Лорис-Меликов с губернатором, митрополитом и прочими высокопоставленными лицами

За вином генерал-губернатор предложил тост за здоровье царя, потом - за большого филантропа Шмуэля Полякова, а ещё - за подрядчика, вложившего много энергии и сил в строительство, щедро доложив приличную сумму денег. Открытие прошло блестяще, и Фрид был счастлив.

Мне, однако, было довольно грустно, и жизнь моя мне представлялась серой. От Гнодмана меня, как и раньше, швыряло то в жар, то в холод, и приходилось молчать.

Был я однажды на работе. Ремонтировали дом начальника дистанции. Потребовалось десять печных дверец и прочее оборудование, и я это должен был купить. От конторы при мне было письмо к владельцу магазина металлоизделий в Харькове, где покупали товара на шестьдесят-семьдесят тысяч рублей в год.

Мы работали за городом, я попросил запрячь лошадь и отправился в город за этими необходимыми вещами. Было около часу. Приехал в магазин металлоизделий и увидел на всех дверях замки. Я не знал, что в обеденное время магазин закрыт, и решил, что продавец обанкротился. Почему я так решил - это вопрос для тех, кто хотел бы надо мной посмеяться.

Но рабочие ведь ждут дверцы. Что делать?

Стоили дверцы всего девяносто пять рублей, а у меня с собой была как раз сотня. Иду в другой магазин и покупаю всё, что надо, за наличные. Вместо девяноста пяти получаю тот же товар за шестьдесят два рубля. Расплачиваюсь и возвращаюсь очень довольный - сэкономил для хозяина тридцать три рубля! Радость моя всё росла, и у меня было чувство, будто я открыл Америку.

Сейчас я укажу Фриду на непорядок в его магазинах. Где это слыхано, чтобы в магазине, где покупают на семьдесят тысяч в год, брали за товар ценой в шестьдесят два рубля целых тридцать три рубля лишних! Это ведь настоящий грабёж!

Принёс дверцы, показал их Гнобману и не без гордости говорю:

"Хорошо, что у меня с собой были наличные. Теперь я вижу, как наш поставщик завышает цены. Он нас просто разоряет!"

Сказал и жду, чтобы "милый" Гнодман изволил взглянуть и заодно похвалить меня за моё старание, за моё открытие.

Но я глубоко и горько ошибся в своих расчётах.

Вместо восторгов и похвал у Гнодмана злобно налились кровью и выкатились глаза, покраснела шея, и, как кипящий горшок, и он разразился:

"Что значит - платить наличными! Кто вас об этом просил? Кто велел? Откуда вы, шлимазл, знаете, что переплачиваете? Что, скажите, значит - переплачивать и что значит - не переплачивать? Шлимазл, нудник! Езжайте домой!

И разразился потоком глумливых и мерзких слов, так что я не мог сдержаться и - расплакался.

От такой страшной ошибки сердце сразу лишается радости, наполняясь горем и слезами.

Я был страшно убит и вечером рассказал Фриду и его жене всю историю и об издевательствах, которыми наградил меня Гнодман за мои старания.

"Не терзай своего сердца, - отозвалась жена Фрида,- видишь, что у меня на носу? - У неё на носу было что-то красное. - Я это получила на той неделе от Гнодмана. Что-то сказала о заключённом с ним контракте, и он чем-то бросил мне в нос. Приходится терпеть, - прибавила она тихо. - у него золотые руки".

Но в конце концов он сильно надоел. Золотых рук, как видно, оказалось недостаточно. И через несколько недель после этой истории Фрид в Петербурге и присмотрел одного человека, подходящего ему в качестве управляющего.

Фрид его тайно привёз в Харьков. Высокого роста, очень красивый человек лет пятидесяти, с большой чёрной бородой с проседью. Походка, каждое движение - залюбуешься.

Чтобы лучше его познакомить с делом и чтобы о нём не знал Гнодман, Фрид его посадил подальше - где-то на двенадцатой дистанции. Поручил небольшой кусок работы - построить вокзальчик за десять тысяч рублей. И этот небольшой кусок работы был предусмотрительно изъят Фридом из полномочия жлоба и полностью передан в распоряжение нового управляющего. Кстати, взят он был на пробу.

Все мы, посвящённые в тайну - в то, что высокий человек должен рано или поздно занять должность Гнодмана - очень радовались, готовясь устроить бал в тот день, когда он сбросит нашего врага.

Но, на нашу беду, хитрый Гнодман сразу понял, что высокий еврей с большой бородой не просто приказчик, а его конкурент. Естественно, что он страшно разъярился, и нам доставалось ещё больше прежнего.

Фактически, он не нуждался в должности. У него уже было своих денег что-то вроде тридцати-сорока тысяч рублей, он сам мог брать подряды. Но он, очевидно, просто любил кричать, командовать, мучить, и не хотелось себя этого лишать. И он ещё больше мучил людей. Но мы с большим трепетом ждали, что скоро тот кончит свой испытательный срок и прогонит негодяя.

Но как же мы были поражены, узнав, что работа нового управляющего - вокзальчик - не была принята - инженер её счёл плохой. Для нас это был ужасный удар, а для Фрида - ещё больше.

Для него шла речь не о десяти тысячах рублей, а о позоре от того, что его подряд был плохо выполнен, не принят.

На Фрида это произвело очень тяжкое впечатление. Конечно, он решил рассчитать управляющего, заплатив ему, в соответствии с контрактом, за три года восемнадцать тысяч рублей, по шесть тысяч в год.

В Харьков приехал очень расстроенный начальник проекта. Он считал, что управляющему кто-то подставил подножку, но не знал, кто именно.

На это ему Фрид горько заметил:

"Настоящий человек таких вещей не боится".

Но ему таки подставил подножку милый Гнодман, стремившийся от него избавиться. Такой пустяк, как подножка для Гнодмана был просто раз плюнуть: донести, оговорить - и готово.

Высокий еврей с чёрной бородой получил расчётные деньги и уехал, а Гнодман остался дальше на всех нас ездить, и власть его, к нашей общей боли и досаде, усилилась ещё больше.

После такого конца, я опять пришёл к своей старой мысли: надо ехать.

Тут я больше не могу оставаться. И я им не подхожу, и они - мне.

Я поговорил с Фридом. Он со мной согласился и посоветовал ехать в Москву. Тамошний раввин, реб Хаим Берлин, - наша родня, он ему напишет письмо и попросит, чтобы он меня пристроил к тамошним богачам. Раввин там пользуется

авторитетом. Он мне также даст письмо к своему хорошему другу, крупному сахарозаводчику, и тот мне тоже поможет.

Глава 23

В пути. – Москва.– Евреи, как в Иерусалиме. – В бет-мидраше. – У раввина.– Что делать? – Корчма, аренда, полевая работа, работа меламеда, торговля в магазине. – Раввин и ребе.– Хасиды в Москве. – Пой!!!– Мои заботы. – Еду домой.

Снова в пути... Москва.

Адьё, Харьков, с "милым" Гнодманом, с печными дверцами, с Фридом, с подрядами и со всем прочим, впереди Москва, нечто новое.

В воображении моём Москва вставала как кацапский город, где евреев ещё придётся поискать, как иголку в стоге сена. Но, слава Богу, это было не так. Приехав в Москву, я аккурат в Зарядье наткнулся на стоящего у ворот, через которые мне надо было пройти, еврея в долгополой капоте, расположившегося там с таким комфортом, как у отца родного в винограднике.

В меблированных комнатах, куда я приехал, крутились евреи, как из черты оседлости - с длинными пейсами, густыми бровями, горбатыми носами и горящими глазами, вполне уютно беседующие о коробочном сборе, о раввинах и о городских проблемах и т.д, и т.п.

Евреев - чтоб не сглазить - в изобилии, во дворе - бет-мидраш, молятся по шесть миньянов в день. С семи утра и до двенадцати молятся, после молитвы - занимаются, слышится сладостный напев Гемары - настоящий Иерусалим.

И в хасидах тоже нет недостатка. Есть хасидский штибль. Я вхожу - евреи как следует выпивают и поют хасидские песни.

Ресторан, где я обедаю, набит евреями из разных мест - хасидами и миснагидами. Весело и уютно. Евреи говорят и едят, едят и говорят, задымленный воздух пахнет еврейской едой, еврейским жареньем, - и бороды, бороды, бороды.

Особенно хорошо прийти в бет-мидраш вечером и видеть, как учатся. Удовольствие смотреть. В городе высятся десятки церквей, а тут - сидят евреи и читают высоко, в голос - точно, как в новом бет-мидраше в Каменце.

Вечером я пришёл к раввину Хаиму Берлину. У него также полно евреев. Тут - торговцы, пришедшие на религиозный суд, и другие евреи - гости из разных мест. Приезжая Москву, они приходят и к раввину. Я переждал всех гостей и передал раввину письмо Фрида.

Он позвал жену и представил меня как своего родственника.

Приняли меня очень хорошо, но сразу стало ясно, что его советы в области коммерции мало чем могут мне пригодиться. Что раввин понимает в коммерции? И какой торговец последует его деловому совету!

Единственное, что мне осталось, это сходить с письмом Фрида в контору сахарного завода.

Но таково было моё везение, что, придя туда, я услышал, что хозяин уехал.

Там-таки действительно находились кое-какие торговцы, нуждающиеся в людях, но, услышав слова раввина, что я - способный молодой человек, уже сочли, что это - большой недостаток.

Мне стало очень, очень кисло на сердце. Хотелось кусать пальцы.

Что будет?

Сначала я учился быть корчмарём, арендатором, потом, чего-то уже добившись, я это бросил и стал учиться полевым работам. Освоив сельское хозяйство, сбежал из леса в большой город Киев и занялся бакалеей. Достигнув успеха в бакалее, уехал в Харьков и стал учиться железнодорожным подрядам и ремонтам, с Гнодманом и со всеми бедами в мире. И вот теперь. Что будет со мной теперь?

Понятно, что с каждым днём моё положение становилось всё труднее. Я уже жалел, что бросил Харьков. Там у меня была под ногами какая-то почва. Здесь я вишу между чужим небом и чужой землёй.

Добрые приятели уговорили меня познакомиться с хасидским ребе, который с реб Хаимом Берлиным - как вода с огнём. Хасидкий ребе имеет вокруг себя большой круг хасидов - богачей, крупных купцов, богатых хозяев.

"Не вредно нанести ему визит и упомянуть в разговоре, что вы с реб Хаимом Берлиным - родня, что ты скитаешься по Москве и ищешь работу, но он, реб Хаим, не может тебе ничем помочь. Не поможет ли тебе чем-то ребе? И намекни ему, что отец твой - пылкий хасид. То есть, попросту подольстись к хасидскому ребе.

Ладно, что делать - я и это попробовал. Пошёл к хасидскому ребе, представился родственником реб Хаима Берлина, приехавшим сюда в поисках места или какого-то дела, сказал, что реб Хаим Берлин, на которого я очень рассчитывал, мало чем может мне помочь. Поэтому добрые люди мне посоветовали познакомиться с вами и просить содействия.

Прежде всего раввин меня спросил:

"Каким образом вы приходитесь роднёй реб Хаиму?"

Я ему это объяснил, заодно представив весь свой ихус,

начиная с реб Хаима Воложинера.

"Но почему вы не пришли ко мне сразу?" - покачал он головой с упрёком. - Я бы вам наверное достал у здешнего место. Вы же, в некотором роде, потомок самих гаонов и праведников. Но теперь, боюсь, Хаим Берлин вам повредил".

Я молчал, чувствуя, как по всему телу продирает холод и боль одновременно.

"Ну, ладно, - сказал он вполне добродушно, - заходите, покажитесь людям, поет, что-то подвернётся".

Выхода у меня не было, и я стал часто навещать хасидского ребе. В его доме было ещё больше хасидов, чем в доме реб Хаима Берлина - миснагидов. Разница была только в том, что миснагиды у Хаима Берлина сидели и стояли в большом порядке. Каждый знал своё место, и когда двое говорили, третий не вторгался. Здесь же, у хасидского ребе, на это не смотрели. Беседовали группами и все вместе, один кричал на другого, другой, опять же, захватывал место третьего, и т.д. Ни богатого, ни бедного, ни старого, ни молодого - все равны, и в доме - весёлая суета.

Естественно, что раввин меня пригласил молиться в свой штибль - ещё одним хасидом больше. Я и это сделал. Молились в штибле очень оживлённо, очень шумно, не хватало только реб Исроэля. Отовсюду - душевные напевы, все болтают, скачут, танцуют, толкаются, смеются и пьют, как бывало в Каменце. И веселье это - не что-то, Боже сохрани, деланное, хасиду таки действительно весело. Бог велик и Его мир - велик, и всё может приносить радость.

И не зря бывает среди хасидов какое-то странное добродушие и самоуспокоенность, словно не было никогда никакого еврейского вопроса и нет галута. Но это, возможно, слишком высокая, слишком большая тема. Я скажу проще: словно не было никакой жены и детей.

И как у себя дома, так и в штибле или в ресторане, или с хасидским раввином - чувствует себя человек как бы в Иерусалиме. Явится околодочный - на тебе в руку, и ладно. Иди и оставь нас в покое.

Могу поклясться, что кучка хасидов, которые весело толклись в доме у хасидского раввина, знать не знали о еврейских бедствиях и ограничениях, насылаемых на них сверху. Я никогда не слышал, чтоб кто-то говорил на эти темы, как часто бывало у миснагидов. А говорят об одном: Бог велик, и мир его велик, и всё как-то обойдётся.

Зато у реб Хаима Берлина говорили с горечью о политике, о чиновниках, полиции и о паспортах, об ограничениях и о антиеврейских мерах, о галуте и т.д. и т.п. вещах. И мрачные

миснагиды ещё мрачнее шевелили бровями.

Когда бы не моё плохое настроение, я бы у хасидского раввина пришёл в себя. От одного веселья чувствуешь себя гигантом. Суббота там была - источник веселья. Веселье начиналось в пятницу вечером.

Приходит в пятницу вечером к раввину масса хасидов и до двенадцати, до часу ночи "правят стол". Раввин говорит на темы Торы на хасидский лад: глаза широко открыты, руки простёрты над столом, бородка танцует. Послушав Тору, поют хасидские напевы. Он кончил, хасиды - поют. После - угощаются.

И так в субботу продолжается целый день. Молятся у раввина, в субботу вечером пения ещё больше. Тарахтит каждое горло. А если кто-то заленится и замолчит - похлопают по плечам:

"Ну, что ты - Зелиг или Меир - тут молчишь? Пой!"

И тот поёт.

Я очень стал приближен к хасидскому раввину и часто его навещал. Он держал меня за маскиля и старался говорить со мной об интересующих меня вещах.

Должности он, однако, для меня никакой не достал, и мне кажется, что в глубине души реб Хаим больше был озабочен моим положением, чем он. Реб Хаим должен был также больше понимать, как тяжко человеку терпеть нужду, чем хасидский раввин. Он также не имел никаких побочных целей.

Тот - хасидский раввин - приблизил меня к себе, желая купить душу - то есть, сделать из меня хасида - чтоб ещё одним стало больше в хасидском обществе.

И ещё интересный факт. Реб Хаим знал, что я сижу день и ночь у хасидского раввина, с которым он был на ножах - как говорят в Литве. В доме у реб Хаима звали хасидского раввина "конокрад", а у хасидского раввина - с другой стороны - звали реб Хаима "злодей". И всё-таки реб Хаим не был против моих визитов к хасидскому раввину: а вдруг мне там помогут?

Вдруг я там себе добьюсь места?

С каждым днём я всё больше видел, что моё пребывание в Москве не стоит понюшки табака. Искать между двумя раввинами себе дела! Нашёл подходящую позицию! Я себя почувствовал как-то совсем лишним на этом свете - будто выставленным за дверь - и уехал обратно в Киев.

Глава 24

Снова в Киеве. – Реб Лейб Шапиро. – Вино. – Заработок. – Пьяная ночь. – Манифест. – Киевская благотворительность. – Реб Хирш Эпштейн.– Мандельштам.

И вот я опять в Киеве. С теми же старыми друзьями и знакомыми - учёными, бездельниками, казуистами, купцами, продавцами, безработными молодыми людьми, нищими и т.д., и т.п.

Какое-то время голова отдыхает от забот. Смеёшься, болтаешь, рассказываешь новости. Но постепенно начинаешь думать о заработке. Я беспокоюсь и другие беспокоются обо мне - чтоб не пришлось мне, не дай Бог, снова лететь куда-то из Киева в поисках хлеба. Решено: сосредоточиться на одном месте, изведать вкус жизни, как все мои друзья.

Пришёл в голову Лейбу Шапиро (мы уже с помирились - мог ли этот человек долго сердиться!), который всегда обо мне заботился, такой план: меламед раввина, например, готовит вино из изюма, на что не требуется разрешения или патента. Может ведь еврей делать вино для киддуша. Меламед меня научит, как его готовить, а товарищи окажут "протекцию". И у меня будет, более или менее, с чего жить.

Я согласился: другого выхода так и так не было. Стали делать из изюма вино. Я закупил все приборы, необходимые для "завода", а также и пуд изюма, пришёл меламед и начал меня "обучать". Как умный еврей он с этим быстро справился, и я научился.

Первая порция вина получилась "очень удачно". Мы его тут же распродали среди добрых друзей и, приготовив на следующий раз десять пудов изюмного вина, стали ждать Пурима и Песах. В процессе работы я то и дело подзывал меламеда, и тот на месте решал встречающиеся в крупном производстве вопросы.

Во второй раз вино получилось также очень удачным. Я его разделил на крепкое и слабое, получше и похуже. Высшим сортом было "настоящее шампанское". Шло нарасхват.

Недостатка в деньгах у меня уже не было - дорогие братья помогали. Поскольку вино удалось, они меня просто забросали огромными беспроцентными ссудами в сотни рублей - лишь бы работал мой "завод".

И я стал зарабатывать. Дело пошло! Стало веселее, появился доход. Я забыл все свои скитания. Раз есть доход, думал я, мы спасены. И однажды, ясным раним утром идём по улице и читаем

на всех столбах и перекрёстках манифест.

В манифесте сказано, что всем евреям, доныне проживающим во внутренних губерниях России, разрешается там жить и далее, и, кроме как по распоряжению Сената, их не имеют права трогать.

Манифест этот нас обрадовал не меньше, чем евреев во времена Мордехая, услышавших о поражении Гамана.

Начались радость и веселье, и для евреев был свет и радость, почёт и уважение. И у меня собрались все мои дорогие братья, и среди них - Липский и ещё несколько студентов, имевших еврейское сердце, и было выпито вволю моего вина -хорошего, очищенного вино, крепкого, как спирт.

Собравшиеся не заставили себя просить. Пили допьяна и радовались, на чём свет стоит.

Липский толкал речи с таким пылом, что мы его стал бросать вверх, пьяно и восторженно. Сбежались все окрестные соседи-христиане, в том числе и околодочный, который как раз проходил мимо и спросил, из-за чего веселье?

Такой дурак этот околодочный - не понимает нашей радости.

Тут Липский открыл рот и объявил ему с пьяным восторгом, что для евреев начались лучшие времена. Манифест там пане околодочный к евреям не цепляться, не трогать пане околодочный, присоединяйтесь к выпивке пане околодочный вот - бутылки вина пане околодочный.

При таком количестве вина стражу порядка не требовалось никакого объяснения. Он только широко открыл рот и лил туда один за другим стаканы крепкого вина.

Компания ещё больше воодушевилась - схватили Липского с околодочным - вино их сравняло - и стали подбрасывать обоих.

Так кутили и пели до самого рассвета, шумели и кричали, и околодочный ушёл очень довольный, с ещё одной бутылкой крепкого вина в кармане. Такая уж у них природа.

Но еврейская радость - очень коротка, а мы, дураки, этого не знали. Мы не знали, что предстоят тёмные, горькие и тяжкие, тяжкие дни - долгие, как еврейское изгнание, которые никогда не сотрутся из памяти. Я, однако, забегаю вперёд, а с бедой нечего спешить: с таким товаром не опоздаешь.

Возвращаюсь к своему вину. Я крепко за него взялся и заготовил товара что-то на добрых несколько сотен рублей. Как я сказал, меня здорово разрекламировали.

На Пурим я продал приличное количество вина, и в предпасхальную неделю оно у меня шло нарасхват - прямо, как вода от мацы. Я увидел, что могу продать в пять раз больше и ещё больше заработать. Но у меня осталось слишком мало времени, чтобы приготовить - на это требовалось пять-шесть недель, и, не

имея другого выхода, я почти вдвое повысил цену. Повёл себя, как хороший купец, и никто не торговался - только подавай вино.

И, как я и предвидел, за день до кануна Песах пришли аж от банкира Гурвича за пятью бутылками вина, и мне пришлось выцеживать из бочек последнее - я радостно думал, что у меня в руках - хорошее дело, надёжный заработок, что больше мне не придётся скитаться - почувствовал почву под ногами.

Но вино - себе льётся, а работа на пользу обществу - тоже чего-то стоит. И меня она привлекла в самый разгар заработка.

Реб Гирш Эпштейн часто ко мне приходил и рассказывал об общинных делах - о тех, что он уже переделал и о тех, что в Киеве только предстоят. "Богачи, - говорил он, от души радуясь, - швыряют деньгами. Они дают, сколько их просят, мадам Розенберг не устаёт день и ночь заниматься благотворительностью и добрыми делами. Только сегодня видели, как она едет в двенадцать часов в районе Подола с ящичком для прошений. И реб Израиль Бродский всё больше и больше раздаёт и жертвует. Объявился и новый жертвователь - некий лесоторговец Гальперн, раздающий милостыню сверх меры".

Реб Гиршу не доставало только пары помощников, так как не мог же он один разрываться. "Нынче, - говорил он, - самое хорошее время для работы на пользу общества". Естественно, что его слова очень сильно на меня действовали. Во мне начинала закипать кровь.

"Реб Гирш, - говорил я ему с воодушевлением, - доход я имею. Дела у меня идут совсем не плохо. Я бы хотел быть вашим помощником. Дайте мне работу - я сделаю. Но, может быть, следует впрягать в работу молодых - кавалеров и барышень. Я себе возьму на помощь Липского, а он привлечёт студентов".

Эпштейн порадовался и тому и другому - и тому, что я имею доход, и тому, что готов работать на пользу общества.

Ещё одного такого, как этот Эпштейн, я за всю жизнь среди общественных деятелей не встречал - такого благородства, самоотверженности, такой преданности делу, такого воодушевления и чистоты. А я общественных деятелей видел немало. Были, кто обладал тем или других из достоинств Эпштейна, но - не всеми вместе и не в такой мере.

Чего он только не делал! Он собирал мацу для Песах, собирал деньги на леченье бедняков, на покупку машин для работников, если тем было не на что их купить самим. Собирал на бедных невест, бедных юношей, стариков, сирот, погорельцев, калек и т.п. Был он очень сильно, чистосердечно набожным - и с сыном своим, очень способным молодым человеком, всю жизнь не

разговаривал после того, как тот напечатал одну статью в тогдашнем "Кармеле". Но променял спокойное изучение Торы, как подобало бы такому набожному еврею, на трудное дело сбора пожертвований.

Никогда не видели, чтобы он занимался. Даже молитве он редко предавался. Видели его только бегающим от дома к дому, с улицы на улицу. Зато он заслужил большую любовь даже у безбожной киевской молодёжи. И молодые барышни никогда не отказывались ходить по его поручениям.

В то время сильно выросла популярность Мандельштама[51]. Бедняки к нему тянулись со всех сторон и изо всех углов. Видно было сразу, что речь идёт о величайшем еврее в Киеве.

Глава 25

Убийство Александра Второго.– Впечатление, какое оно произвело на евреев. – Игнатьев.– Чёрные вести. – Васильков.– Васильковские хасиды.– Мое ремесло. – "Киевлянин". – "Бей жидов!" – Бегут в Америку. – Босяки. – Страх.– Накануне погрома. – Моя добрая хозяйка. – Начинается... –- Жестокость, вызванная страхом. – В сарае. – Эмиграция на чердак. – Чердачная жизнь. – Мыши. – Жизнь опротивела – Мыши заговорили человеческим языком. – Спуск с чердака.– Опять моя добрая хозяйка. – Горько плачем, как малые дети. – Погром утих. – Жертвы. – Казарма. – Бежать отсюда.– Смерть отца и деда.

В это время убили Александра Второго. Известие об этом произвело на евреев очень тяжёлое впечатление. Александр Второй был очень популярен среди евреев и очень ими любим. Они его называли "царь-милостивый" и в период его царствования настроены были в высшей степени патриотично, о чём я уже писал раньше. С глубокой скорбью читали по нему заупокойные молитвы в синагогах и многие при этом плакали.

После его смерти стали носиться в воздухе мрачные предчувствия, чёрные вести. Либерального Лорис-Меликова сменил в его должности "знаменитый" Игнатьев[52].

И еврейское сердце почувствовало опасность.

Я в это время, однако, был очень поглощён своим вином. Дело шло, и понадобилось получить свидетельство "ремесленника". И сразу после Песах я поехал в Васильков, небольшое местечко Киевской губернии, с письмом от киевского раввина к васильковскому, чтобы тот мне выдал свидетельство. Васильковский раввин был хасидом, местечко состояло из одних хасидов, и хасидский штибль, куда я позже явился, выглядел, как большой бет-мидраш. Мне пришлось ходить молиться несколько дней, которые я там провёл. Но как там молились! Бегают друг за другом, толкаются, хлопают себя по боку, по сердцу, по лицу и удивительно, что не калечатся.

Сама молитва происходит также наскоку. Этот твердит: "Воздайте благодарение", другой: "Счастливы пребывающие в Доме Твоём", третий: "Тогда воспел", четвёртый: "Да будет вечно прославляемо. Друг друга не слушают. Хазан тем временем читает "Святость", и все трижды подскакивают: "Свят, свят, свят"[53], и бегут дальше.

Должен признаться, что не один раз получил хлопок по

голове, по сердцу и по боку, но ни на кого за это не сердился. Евреи бегают, прыгают, кричат и поют - хорошо! Всё так живо.

В одном углу говорят о хасидизме, немного дальше - сидит старикашечка и высоким, ясным голосом читает Зохар, другой - смотрит в мидраш, у возвышения - стоит старший шамес, а вокруг него - молодые люди с золотыми цепочками на жилетах, представительные молодые хозяева на прокорме, только начавшие жить.

В штибле даже сильно накурено. Хасиды держат трубки во рту и попыхивают, дым тянется серыми нитями к балкам. Но всё это можно извинить за пыл, за весёлый тарарам, за жизненные силы, источаемые этими возбуждёнными людьми.

Через несколько дней я получил необходимое мне свидетельство и уехал домой.

Ехал я в приподнятом настроении - будет заработок, будет доход, жена будет молчать.

Но еврейская радость, как говорится, лишена фундамента, и едва я приехал домой, как прочёл в "Киевлянине" чёрную весть - что в Елизаветграде был еврейский погром.

"Человеколюбивый" "Киевлянин" специально подробно размазал весь погром - как грабили и били, как вспарывали перины и подушки, как летали по улицам перья, и благородный и человеколюбивый подтекст черного листка мог дойти и до ребёнка. Подтекст этот был:

"Бей жидов!"

"Грабь, режь жидов!"

Известия о погроме охватили страхом всех киевских евреев. В один миг были разрушены надежды, разбиты мечты. И еврейская покинутость выступила наружу, как обнажённый скелет, во весь свой ужасный рост. Чувствовалось, что Елизаветградом беда не кончится, что другие города ждут своей очереди, и первый среди них - Киев...

От страха у евреев изменился цвет лица. Спины странно согнулись.

Что делать?

Другие евреи, не отличаясь особенным оптимизмом, не захотели ждать, пока придут их грабить и бить, всё побросали и уехали в Америку. И когда я с ними расставался, из глаз моих текли горячие слёзы и с силой сжималось сердце.

И сразу нам стало ясно, что в Киеве будет погром, что Киев действительно будет первым. Об этом нам говорил не только гой и его взгляд, но также и носящаяся в воздухе смерть, кирпичные стены, уличная мостовая.

И мы ждали. Ничего не оставалось, как ждать. Куда бежать,

Господи!

Потом стали выражаться яснее. Босяки, работавшие на берегу Днепра, которых в Киеве были тысячи, уже говорили свободно, что вот-вот возьмутся за дело. Часто они этим своим делом похвалялись, чувствуя, по-видимому под ногами твёрдую почву:

"Эту работу мы лучше сделаем, чем в Елисаветграде". Другие шли дальше:

"Грабить мы не будем, только убивать, резать!"

Трудно передать состояние евреев в ожидании погрома - нечто страшно неопределённое, тупо болтающееся между смертью и запуганной жизнью. Смерть-жизнь, смерть-жизнь. Так себя должны чувствовать овцы, которых ведут резать.

Но хуже самого погрома унижение от погрома - грубая, пьяная сила, одолевающая беззащитную слабость. И те, кто готовился начать, заранее предвкушали удовольствие от еврейского унижения, горя и боли, не имеющих возможности выкричаться. Это им теперь принадлежит улица, они по ней громко топают, и ухо евреев, перебегающих, как тени, улицу, ловит с болью тёмный и тяжкий уличный крик, пока ещё не претворённый в действие:

"Мы вам вспорем животы!"

А у страха глаза велики

И с каждым часом он нас охватывает всё плотнее. Не хотелось ни есть, ни пить, ни смотреть глазами, ни слушать ушами, ни шевелить руками.

Старые люди лежали в кроватях, и старые кости в них дрожали и стучали, как сухие щепки в большом костре.

Дети отказывались играть, вместе с ужасом в глазках сверкал невысказанный вопрос. У милых, дорогих детей был вопрос, но родители молчали.

А потом даже день стал известен, но не час:

"В воскресенье начнётся..."

Я тогда жил у некоего Лашкерова, молодого христианина лет тридцати. Кроме дома, был у него ещё табачный магазин и магазин деревянных изделий. Оба - он и его необыкновенно красивая жена, были хорошими, либеральными людьми, и в их доме жили четыре еврейских семьи.

Эти христиане-домовладельцы очень хорошо уживались со своими еврейскими соседями и часто искренне удивлялись еврейской трезвости, сдержанности и солидной, чистой жизни между мужем и женой.

Придя к нам в субботу перед погромом, хозяйка сначала молча постояла, огляделась, как потерянная, и разрыдалась.

Почему она плакала? Как ей было не плакать? Была она молода, красива и благородна и имела добрую душу.

Потом стало ясно, что кроме слёз, она имеет для нас утешение и защиту. Для нашей защиты она организовала небольшой отряд из своих приказчиков и братьев. Их роль была - защитить евреев, не дать их в обиду. Именно так - не дать в обиду.

Эта добросердечная, гуманная женщина меня удивительно трогала. Горячая волна благодарности накатывала мне на сердце, но признаюсь: "войску" её я не доверял. Инстинкт мне говорил, что когда начнётся, может, и они там будут гойские руки, кто на них может положиться в такую минуту?

Те, кому нужна была еврейская кровь и имущество, конечно, были точны, как часы, и в воскресенье днём началось.

Вот оно! Вот оно! Вот оно!

Если, может, один еврей из десяти тысяч ещё сомневался, то сейчас он мог слышать: дикие крики, звон выбитых стёкол, треск разбитой мебели, скрежет взломанных замков недалеко от нас - началось.

Крики росли и приближались. Звон стёкол и треск мебели раздирал уши.

Отключился ли я до того, что глаза мои перестали видеть, или в самом деле так было - но стражи моей прекрасной и доброй хозяйки я не видел. Никакой стражи не было.

Конечно, инстинкт мой меня не обманул. И мы, четыре проживавших в доме еврейских семьи, бежали, как нам положено, чтоб где-то укрыться. Бежали с жёнами и детьми из нашего дома в большой и тёмный сарай. Там лежали дрова, и затаив дыхание, мы прижались к немым, холодным дровам. Вдруг один из детей заплакал. Дети - люди откровенные. Плачет сердце - плачет человек. Но глаза наши - остры, и мы их стращаем синими искусанными губами:

"Не плакать! Молчать! Погромщики идут! Бить вас будут - слышите - би-и-ть!"

Дети застыли, раскрыв широко глаза, с мокрыми от слёз личиками.

Ребёнок не знает, что такое погромщики, он не может перестать плакать. Он плачет сильнее. Не в силах его успокоить, я зажимаю ему ротик рукой, чтобы погромщики не услышали, где мы плачем.

Мы понимаем, что сарай нам не годится. Чердак – лучше, больше подходит еврею. Еврей любит чердак, и мы туда эмигрируем.

Там оказывается наша золотая хозяйка и закладывает

дровами дверь чердака для безопасности. И нам хочется ей целовать руку - не от благодарности и не от благородства, а скорее от мерзкой забитости, от животной трусости - как мышь, только что спасённая от кошки.

Повсюду - вопят и кричат, грабят и бьют, громят и убивают, и нам кажется, мы слышим подавленные рыдания выбивающихся из сил, агонизирующих евреев.

Так прошла эта чёрная ночь, чердачная ночь. Зачем заложила нашу дверь хозяйка дровами? Пусть бы нас перебили - чем лежать, спрятавшись и, кажется, слышать отдалённый плач избиваемых евреев - лучше и благородней быть убитыми. Но мы были не люди, а только мыши.

Когда кончилась эта свинцово-тяжёлая чердачная ночь, и в щели проник день, мы посмотрели друг на друга: смертельно-бледные лица, вытаращенные глаза, искривленные губы. И мы молчали: было стыдно смотреть дуг другу в глаза, стыдно говорить.

Малые дети держались лучше нас: лежали ослабшие, сиротливые, но в философском состоянии духа, с широко-раскрытыми глазами.

Когда рассвело, мы решились выглянуть через чердачные щели, узнать, что творится на нашей улице.

Не знаю, кто действовал в эту минуту на других улицах, но на нашей улочке бушевали, в основном, босоногие шейгецы лет двенадцати, с железными прутьями, ломами и топорами в руках. Глядя сквозь щель на таких воителей, хотелось пальцы кусать: отцы семейства, глупые отцы семейства забрались на чердак и сидят. На улицу пошли, наружу! Было бы благим делом нас оттуда вышвырнуть.

Но мы были ужасные трусы и пролежали на этих чердаках в боли и страхе целых двое суток сколько длился погром. В минуты "просветления", когда, как после сильной зубной боли, немного спадал страх, хотелось схватить нож и зарезаться. В такие минуты сердце болело и за невинных детей: конечно, их мучил голод. Конечно, их мучила жажда. Что им дать?

Вдруг - сильней крики погромщиков - и опять всё забыто, опять напал животный страх и все вконец растерялись.

На вторую ночь мы уже сильно ослабли. Лежали почти без дыханья, от детей не слышалось ни звука: то ли они живы, то ли умерли. Эти дивно мудрые цыплята поняли: сейчас им никто не поможет, и молчали.

Только изредка слышались тихие вздохи грудничков - словно трепетала душа. Но ими никто не занимался.

На рассвете после второй ночи дикие погромные звуки

постепенно стихли. Кот, как видно, ушёл и мыши понемногу пришли в себя. И тут же заговорили по-человечески:

"Кажется, прекратилось? ..."

"Ничего не слышно ..."

"Тихо ..."

"Кончилось ..."

"Можно спускаться? ..."

"Погоди, кажется, я слышу голоса ..."

"Что ты говоришь? ..."

"Я слышу ..."

"Нет, тебе это кажется ..."

"Ага ..."

"Тихо ..."

"Если да ..."

"Нет ..."

"Прислушайся ..."

"Совсем тихо ..."

"Ш-ш-ш ..."

"И мне кажется ..."

"Я думаю ..."

"Я боюсь ..."

"Ага ..."

"Тихо ..."

"Таки тихо ..."

"Тихо ..."

"Точно? ..."

"Тихо, тихо ..."

Вдруг мыши слышат: кто-то лезет на чердак. Затаили дыхание, облились холодным, последним потом. Но это была хозяйская прислуга. Пришла сообщить, что можно спускаться.

"Слышите? Можно спускаться! Повторяю: можно спускаться. Можно спускаться. Можно спускаться".

Мыши поднялись, но что это была за ходьба: ноги, словно отнялись. С большим трудом сползли с чердака.

Собрались у нас в квартире. Пришла хозяйка, её муж и брат, увидев нас, были поражены. Хозяйка расплакалась. Хорош был вид у мышей!

Плач хозяйки лишил нас последней капли твёрдости. Сердце растаяло от жалости к себе, к детям, и мы все в голос расплакались, как осиротевшие дети у злой мачехи.

Не помню, как и когда мы успокоились. Как видно, хозяйка пришла в себя и нас успокоила. Конечно - она-то на чердаке не лежала.

Сразу занялись цыплятами: дали иммолока, чаю из

хозяйского самовара, который принесла прислуга. Мы, взрослые, ничего не могли взять в рот. Голова кружилась, как от тысячелетнего голода.

Потом пришёл околодочный. Объявил, что уже можно выйти, что уже тихо, спокойно, и можно даже открыть магазины.

Спасибо за добрую весть. Очень добрый околодочный. Уже можно - сказал он - выйти на улицу. Очень добрый околодочный.

Как бы это ни было тяжело, но на улицу я вышел, на мачехину улицу. Там было тихо, как после войны. Мои друзья и знакомые, как я узнал, отделались испугом - если сам испуг не причинил вреда.

От киевской еврейской общины остались одни развалины. Именно этого хотели погромщики, и этого они вполне добились, так как состоятельные евреи, которые не были разграблены, - обанкротились, город выглядел, как после землетрясения. За несколько дней евреи постарели, и кроме глубокого стона, никто ничего не мог из себя выжать. На многих улицах, в особенности, на Подоле, земля была покрыта перьями, изодранными рубахами, посудой и мебелью.

Потом на улице стали часто попадаться группы погромщиков, которых вели в участок - какое-то утешение для больных еврейских чувств. Есть какой-то закон, какая-то управа на бандита, на кровожадного зверя. Но тут же мы убедились, что это не так. Из участков погромщиков сразу освободили, и они с наглыми ухмылками крутились по улицам.

Тут стало ясно, что надеяться нам не на кого (до этого ещё кто-то надеялся).

И особенно это стало ясно, это когда на улицах развесили предупреждения от губернатора: в случае повторения беспорядков, в погромщиков будут стрелять.

Раньше-то не догадались.

Погром сопровождался всеми деталями - бесчестьем женщин, избиением больных, разбитой мебелью, грабежом магазинов с отправкой награбленного в деревни.

Из больших еврейских магазинов сильно пострадали бакалейные лавки Розенберга, чей убыток достиг миллиона рублей, дом Бродского, где разграблено было без меры и счёта, и ещё некоторые.

Всех оставшихся без крыши над головой евреев втащили в какую-то большую казарму, туда же привезли больных и беременных женщин, совершенно убитых страхом. Особенно были напуганы женщины на сносях. На них было страшно смотреть. Нашли время рожать! Пережить родовые муки в казарме, среди посторонних евреев, когда некуда деться, среди стона больных и

ужасного плача здоровых. Картина в казарме была такой, что кто её увидел, она ему, как огнём, навсегда врезалась в память.

Но, как мы позже узнали, киевский погром ещё делался "по-божески". В Балте, Нежине, было в тысячу раз хуже. Там люди своей жестокостью превзошли самых диких и кровожадных зверей.

Пять тысяч евреев уехали сразу после погрома в Америку.

Масса евреев устремились с женами и детьми в черту оседлости - может, там найдётся место, где можно спокойно преклонить голову.

Заработок, дело, жизнь - об этом не думали. Стремились только к спокойному месту, где не будет страха, где не придут к тебе с топором и ломом в руках, где дочь твою не обесчестят, где ребёнок твой не будет валяться двое суток на чердаке в смертельном страхе, где ты не превратишься в мышь.

Понятно, что и я больше не хотел оставаться в Киеве. Пусть меня в этом городе не будет. Мне противны были улицы, меня тошнило от гоев. Я больше не мог дышать киевским воздухом.

Добрые друзья советовали мне остаться. Если ты еврей - куда убежишь? Я их не слушал. Я махнул рукой на свой киевский доход - чёрт его возьми. И решил ехать в Польшу - в Варшаву.

Поляки - думал я тогда (сейчас думаю немного иначе) - не будут громить евреев. Поляки - культурная нация и как народ - достаточно сами испытали страданий и страхов. Сами понимают, что значит трагедия народа, что значит мучиться, страдать, задыхаться.

Обессиленный и разбитый, я покинул Киев. Я уехал в Варшаву пока один. План мой был - найти в большом городе какое-то дело и вызвать потом жену и ребёнка.

Вдобавок ко всем несчастьям, которые я пережил в Киеве: нужду и страдания, наводнение, страх перед облавой и погром, пришла ко мне также весть, что мой дорогой отец скончался, что этот прекрасный, чистый и сердечный еврей - не выдержал.

Конечно, на каторге себя чувствуют лучше, чем он себя чувствовал в деревне, и в возрасте сорока шести лет он умер. Крестьянская среда, широкие свободные поля, по которым не разгуливают с песнями хасиды, незнакомая и тяжёлая полевая работа, эта постоянная тоска по ребе, Богу и евреям - всё это ему пронзало сердце, и он угас, как птица в тесной чёрной клетке. Сердце остановилось. И такой молодой: сорок шесть лет. Не выдержал.

Примерно через год после смерти отца умер дед Арон-Лейзер. Последние несколько лет он жил уже не в деревне, а в Каменце. Его влияние в местечке ещё было большим. Понятно,

что не таким большим, как когда-то в молодости. В молодые годы он мог противостоять желанию всей общины. К примеру, город хочет одного раввина, а он хочет другого. И город ломает себя перед его властью. Такой случай был.

Когда дядя, каменецкий раввин, умер, и решились взять нового, начался большой спор: могли бы взять раввином его сына, учёного еврея. Но он был хасидом. Второй сын, раввин в польском местечке, хотя и миснагид, на. эту почётную должность не годился: был для Каменца недостаточно крупной величиной. Имел к тому же репутацию глупца. Каменец его не хотел раввином. Но дед именно его решил поддержать - раввином был отец, а теперь пусть будет сын, хотя деду он тоже не очень нравился. И вот тут, из-за подобной истории, случившейся раньше, дед своё желание каменецкой общине решительно навязал.

Никаких средств борьбы он не применял. Просто сделал одну вещь: когда хасидский раввин приехал в Каменец произнёс по обычаю проповедь и понравился, и город его уже хотел назначить раввином - дед не поставил своей подписи на договоре, который должны были заключить. Только и всего. И ещё при этом сказал:

"Не хочу вмешиваться в дела раввината. Можете взять себе раввина, какого хотите, Я, кстати, ничего в раввинах не понимаю".

После такого ответа отцы города ушли, повесив носы, хорошо зная, что без подписи Арон-Лейзера поддержка раввината - не обеспечена.

Явился однажды в Каменец некий известный в еврейском мире реб Йошеле, хорошо знающий Тору еврей. Произнёс две проповеди и очень понравился городу. В субботу вечером созвали собрание у Довида-Ицхока. На собрание пришли все хозяева города. Составили бумагу, и все подписались. Первое место, однако, оставили пустым для Арон-Лейзера.

Два важных хозяина пришли просить Арон-Лейзера, чтобы явился и поставил первым свою подпись. Он отказался.

"Ну, так не будет подписи, - взорвались хозяева, - не хочет подписывать - не надо. Такого большого знатока нельзя упускать!"

Но между этими же раздражёнными хозяевами нашёлся один скептик, он покачал головой и заявил шутливым тоном:

"Глупцы, глупцы, да когда же вы что-то делали без согласия Арон-Лейзера! Большие вы без него специалисты. Жаль только реб Йошеле, которого зря здесь мучили".

Реб Йоше, увидев, что он здесь ничего не добьётся, встал и направился с Довид-Ицхоком к деду.

"Реб Арон-Лейзер, - просил он со слезами на глазах, - я не

спрашивал о плате. Это будет та ещё плата. Едва хватит на хлеб. Просто мне хочется сидеть на стуле, где сидели такие больше мудрецы и праведники".

Суровый дед на этот раз сдался... Пошёл на собрание и поставил подпись. Затем выложил десятирублёвку для раввина.

Был это исключительный маневр и в некотором роде мщение, так как скупым каменецким хозяевам пришлось по такому случаю дать хотя бы по три-четыре рубля, а этого они очень не любили.

Умер дед на семидесятом году. Многие его оплакивали и немало, кто радовался - избавились от такого ума, от такой власти.

Нашёл он свой вечный покой на каменецком кладбище. Скудную литовскую землю, на которой он был рождён, он очень любил, и когда закрывались навеки его умные глаза, может быть последней мыслью, согревшей его холодеющую в агонии кровь, было - что усталое его тело будет покоиться в тихой, материнской каменецкой земле.

notes

Примечания

1

Персонаж рассказов Шолом-Алейхема - символ еврея, живущего случайными заработками.

2

Первые слова молитвы, произносимой при встрече субботы.

3

Переводчик книги на иврит Давид Асаф в этом месте делает поправку: "Не лук, а чеснок как умножающий семя продукт рекомендуется Вавилонским талмудом (трактат Бава Кама) сынам Израиля в канун субботы".

4

Отрывок, посвящённый субботе, читается сефардскими евреями и хасидами на встрече субботы перед вечерней молитвой.

5

В данном случае - субботнее благословение талмудического происхождения каждому, встреченному по дороге из синагоги домой.

6

См. мой первый том (прим. автора). Речь идёт об аресте русскими властями ребе, занятого сбором средств для для Эрец-Исраэль.

7

Промежуток времени между Новым годом и Судным днём.

8

Христианский праздник, отмечавшийся 24 июня по ст. стилю, посвящённый Иоанну Крестителю.

9

С середины августа до середины сентября.

10

По мнению Д.Ассафа, переводчика книги на иврит, речь идёт об Илиягу Вильнере, умершем в 1868 г., правнуке Виленского гаона, а не его внуке.

11

Мера площади в 0,4 га.

12

Псевдоним Нахума-Меира Шайкевича (1849-1906), автора бульварных романов на идиш.

13

Стержень от задней части повозки, вставляемый в ось передка и позволяющий передку, вращаясь на этом стержне, производить повороты.

1832-1910.

15

Давид Ассаф, переводчик книги на иврит, в этом месте замечает: "Ошибка. Имеются в виду семь благословений, которые читаются в конце семи праздничных свадебных дней - тех же благословений, которые читаются во время церемонии бракосочетания".

16

Д.Ассаф, переводчик книги на иврит, сделал в этом месте примечание: "Чудо такое в Новом Завете не упомянуто и его источник - в народной традиции, основанной на эпизоде воскресения из мёртвых после распятия Иисуса (Евангелие от Матфея, 27, 52-53).

17

Саадия бен-Йосеф (882-942), по прозвищу "Гаон", т.е., мудрец - крупнейший галахический авторитет, основоположник раввинистической литературы и еврейской рационалистической философии, жил в Египте, Эрец-Исраэль и Вавилонии. Д.Ассаф сомневается в том, что приведённое Котиком рассуждение действительно принадлежит Саадии.

18

"Заступник» - газета на иврите, выходившая в Одессе и Петербурге в 1860-1904 гг.

19

"Проповедник" - ежедневная газета на иврите, выходила в г. Лыке (Пруссия, ныне Элк, Польша), Берлине и Кракове в 1856-1903 г.

20

По смыслу здесь больше подошло бы: «За деньги всё можно получить», но жаль упускать использованный автором славянизм, глагол «докажен».

21

В оригинале принятая библейская форма: "ве-йиврах" - "и убежал" (см., например, Брешит - в русской традиции Бытие - 31,21), вошедшая в идиш как повелительное наклонение.

22

По утверждению Д.Ассафа притча взята не у Саадии Гаона, а из книги "Обязанности сердец", с.26, раздел 2, сочинения еврейского философа-моралиста Бахьи бен Йосефа Ибн Пакуды, (2-я пол. 11 в., Испания).

Т.е., площадь размером в две тыс. локтей в районе жилья, где можно ходить в субботу, не нарушая субботнего отдыха.

24

В честь св. Георгия Победоносца, в данном случае - 26 апреля по ст. стилю.

25

"Алеф" и "тав" - первая и последняя буквы еврейского алфавита.

26

Во времена Котика - местечко Гродненской губ., ныне - г. в Белоруссии Берёзовского р-на Брестской обл.

27

Судья в религиозном суде.

28

Немецкий перевод Пятикнижия еврейскими буквами, сделанный М.Мендельсоном (1773-1783), снабжённый комментариями в духе Просвещения и вызывавший нарекания ортодоксальных кругов.

29

Ошибка меламеда основана на сходном звучании ("аин") в библейском стихе слова "нет" и слова "глаз".

30

Значение собственного имени Барух - "благословенный", т.е., в отрывке не было речи ни о каком Барухе, а о благословении.

Т.е., обеты, отшельничество, неверная жена, разводы, браки.

(Поучения отцов, 2,5), т.е., тот, кто стесняется спросить о том, чего он не знает, не продвинется в занятиях.

33

Пильпуль - один из логических методов исследования законов Торы, Талмуда и раввинистической литературы. Понятие происходит от слова "пильпель" - перец - намёк на остроту и отточенность дискуссий, сопровождавшихся своеобразной диалектикой, остроумным и тонким анализом различных галахических положений и проблем. В разные исторические периоды метод пользовался то большей популярностью среди знатоков (напр., с середины 15-го в. до середины 16-го), то меньшей - с начала 19-го в. Возникнув из стремления к изощрению ума учеников и с целью приучить их к независимому мышлению, постепенно выродился в бесплодную схоластику, вызывая нарекания многих религиозных авторитетов.

34

Кусок мацы, который в начале пасхальной трапезы кладут под подушку, на которую опирается хозяин дома, и который съедают в конце седера.

35

Последний месяц еврейского календаря - с середины августа до середины сентября.

36

Персонаж одноименной повести Шолом-Алейхема, образец неудачника.

37

Макаров в ту эпоху - местечко Киевской губернии и уезда, резиденция макаровских цадиков.

38

Тальное - в то время - местечко Киевской губ., Уманского уезда.

39

То есть: "Да здравствует Давид, царь Израиля!" Согласно традиции, Мессия должен явиться из дома Давида. Популярное это восклицание впервые упомянуто в талмудическом трактате "Рош-ха-Шана",25,1. В данном случае донос подразумевал не мессианские, а политические чаяния евреев.

40

На с. 198-199 книги приводятся ноты казацкого марша реб Исроэля, специально приспособленные для "казаков" Карлинского ребе в момент их выезда навстречу жениху и невесте. - Прим. автора.

41

Приведённая легенда отражает с большой долей фантазии реальные отношения к евреям известного промышленника П.П.Демидова (1839-1885), занимавшего в начале 70-х г.пост киевского городского головы, и его жены. См. книгу самого Демидова, а не его жены, "Еврейский вопрос в России". С.-Петербург : Тип. Стасюлевича, 1883. VII, 91 с.

42

Д.Ассаф считает, что эта цифра преувеличена, что 30-ти тысяч еврейское население Киева достигло только к концу 19 в.

43

Поляков Самуил (1837-1888), один из братьев, железнодорожных подрядчиков, предпринимателей и банкиров Российской империи. Жертвовал большие сумы на общероссийское и еврейское просвещение. Инициатор создания ОРТа - Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России.

44

Бродский Израиль (1823-1888), из семьи промышленников и филантропов Российской империи. Сыграл важную роль в развитии сахарной промышленности на Украине. Один из руководителей еврейской общины Киева.

45

Выходила в 1880-1886.

Раввинские семинарии существуют с начала 19 века до наших дней. Наряду с религиозными знаниями, там получают и общее образование, что позволяет окончившим курс поступать в гимназии и университеты, и объясняет их привлекательность для сторонников Хаскалы.

47

Бродский Элиэзер (Лазарь), 1848-1904, сын И.Бродского, также, как и его отец - сахарозаводчик и филантроп.

Д.Ассаф считает, что речь идёт о Карпухинском хасидском бет-мидраше, открытом на Подоле в1866 г.

49

"Лаг" - т.е., ламед-гимель - в буквенном выражении, принятом в еврейской традиции, означает число 33. Лаг ба-омер, сопровождавшийся в древности благодарственными приношениями в Храме первых созревших снопов, отмечается на 33-й день омера, периода между праздниками Песах и Шавуот, продолжающегося 7 недель.

Рассказ "Лаг-ба-Омер" (1901).

51

Мандельштам Макс Эммануил (1839-1912), глазной врач, доцент Киевского университета. Потрясённый погромами на Юге России в начале 80-х годов, включился в активную деятельность по поощрению евреев к эмиграции в Палестину и США.

52

Игнатьев Н.П. (1832-1908), сменив в должности министра внутренних дел считавшегося в еврейской среде либеральным Лорис-Меликова, провёл т. наз. "Временные правила", цель которых была - преградить евреям доступ в деревни черты оседлости.

53

Здесь и дальше - слова из утренней молитвы. При словах " Перед Ним стоят серафимы. И взывал один к другому, и сказал: свят, свят, свят, Господь Воинств! Вся земля полна славы Его" (Исайя, 6,3) молящиеся приподымаются на цыпочки наподобие серафимов.